

Юзеф Игнацы Крашевский

ГРАФ БРЮЛЬ

Интриги министров короля Августа II

ЧАСТЬ I

I

В один из прекрасных осенних вечеров при закате солнца последние рожки, созывающие охотников, раздались в лесу, состоящем из ели и старых буков. По широкому тракту, прорезывающему эти дебри, тянулись охотничьи отряды двора; по бокам люди с рогатинами и сетями верхом, в зеленых казакинах, обшитых золотым галуном и в шляпах с черными перьями; в середине изящное общество и возы с дичью, украшенной зелеными ветвями. Охота, по-видимому, была очень удачна, так как все охотники находились в веселом расположении духа, а из возов торчали олени рога и свешивались головы кабанов с окровавленными клыками. Впереди отряда виднелась королевская свита, великолепные наряды, прекрасные лошади и несколько амазонок с румяными личиками. Все это

было одето как бы для большого торжества, так как охота оставляла тогда любимую забаву царствующего довольно счастливо над Саксонией и Польшей Августа II.

Руководил охотой сам король, а рядом с ним ехал возлюбленный первородный сын его, который должен был наследовать после отца Саксонскую корону и который составлял надежду народа... Король, несмотря на свои пожилые лета, глядел еще величественно и бодро и на лошади сидел как настоящий рыцарь; сына же его не менее красивого, но с более кротким лицом, можно было принять за младшего брата короля... Многочисленная и пышная свита окружала государя. Вся эта кавалькада спешила на ночь в недалеко отстоящий Губертсбург, где сын должен был угощать отца, так как охотничий замок составлял его собственность. В Губертсбурге ожидала их королева Жозефина, дочь императорского дома Габсбургов, недавно отданная в супружество молодому Фридриху. Общество было так многочисленно, что ему трудно было разместиться в большом замке, вследствие чего, недалеко, в молодом лесу, заранее были разбиты шатры, в которых и должна была ночевать большая часть свиты его величества.

Столы к ужину были уже сервированы и в то время как король въезжал во двор замка, охотники стали отыскивать и занимать назначенные им

места. Начало смеркаться. В шатрах было уже шумно и весело; чистый и звонкий молодой смех, стесняемый прежде присутствием короля и старших, теперь раздавался гораздо свободнее. После утомительно проведенного дня все хватались за расставленные бутылки, хотя распорядитель не дал еще сигнала, призывающего к столу. Шатры для свиты, осененные деревьями, стали освещаться фонарями. Тут же рядом в импровизированных стойлах были поставлены ржачие лошади, голоса которых время от времени вызывали угрожающие проклятия конюхов.

Незнакомые между собой лошади начинали знакомство кусаньем между собою и фырканьем, но звук бича восстанавливал спокойствие. Еще далее псарня короля напоминала о себе лаем и визгом. И здесь сторожа имели не мало хлопот, чтобы подавить эту суматоху. Но в шатрах не было никого, кто бы осмелился своим авторитетом удержать песни и ссоры молодежи. Спорили еще из-за самого красивого личика, из-за самого меткого выстрела, из-за наиболее милостивого слова его королевского величества. Сын короля был героем дня; он убил наповал, попав прямо в лоб, огромного кабана, который устремился на него. Все восхищались присутствием духа, удивительным хладнокровием, с каким он долго метил и выстрелил. Когда охотники быстро прибежали на

выстрел, чтобы dokonать ножами разъяренного зверя, последний уже плавал в крови. Король Август поцеловал сына, который с почтением прикоснулся губами к руке царственного отца и после своего подвига остался столь же покойным и холодным, как и прежде.

Единственным признаком хорошего расположения духа было то, что отойдя немного в сторону, он велел подать себе трубку и стал затягиваться сильнее и чаще обыкновенного.

В то время уже стало распространяться курение табака, которым не брезгал и Станислав Лещинский. Август Сильный курил его с удовольствием, а сын его Фридрих со страстью. Особенно во время холостых пирушек и при пиве не обходилось без трубок. Подавали их при дворе прусского короля всякому, не спрашивая, хочет ли он курить или нет, а над тем, у кого дым производил тошноту, смеялись от души.

Одним из условий хорошего тона и молодечества считалось сосание трубки с утра до вечера. Дамы ее терпеть не могли, но отвращение их не удерживало вельмож того времени от приятного и сладостного опьянения, которым сопровождалось курение. Только очень молодым запрещено было привыкать слишком рано к этому зелью, которое наравне с картами и вином считалось самым опасным искушением.

В шатрах трубок тоже не было. Усталые всадники, соскочив с коней, кто где мог, попадали на землю, на ковры, на бревна и на скамейки. Можно было видеть, как в замке зажигались огни, а звуки музыки проникали в лес, где расположились двор и служба. На другой день предполагалось вести охоту в других лесах и заранее было приказано, чтобы все были готовы. Немного в стороне от собравшихся в кучки старших придворных, по дороге, ведущей в замок, как бы желая проникнуть в него, расхаживал двадцатилетний юноша.

Взглянув на его платье, легко было догадаться, что это был паж его величества.

Эта личность не могла не обратить на себя внимания даже самого равнодушного человека. Он был в высшей степени изящен, прекрасно сложен и имел в себе несколько привлекательную женственность. Платье сидело на нем так, как будто он в нем родился; парик — как будто он пришел на свет уже завитым, он не растрепался даже во время охоты, а из-под него выглядывало личико, как бы сделанное из мейзенского фарфора, белое, румяное, почти детское и девственной красоты, с улыбкой наготове, с глазами быстрыми, но выжидающими приказания господина. Во всякое время они могли погаснуть и замолчать или же загореться и высказать даже то, чего может быть в душе не

было.

Этот прекрасный юноша привлекал всех, словно загадка. Любили его все, не исключая короля, и несмотря на это, не было при дворе существа, более вежливого, более услужливого и смиренного. Он никогда не старался выставить себя в хорошем свете, не старался казаться лучше и выше товарищей, а между тем, взявшись за какое-нибудь дело, исполнял его с удивительной ловкостью, легкостью, скоростью и расторопностью. Это был очень бедный дворянин родом из Тюрингии, последний и самый младший из четырех братьев Брюль фон-Ганглоффс-Земмерн. Отец его был незначительным управителем при миниатюрном дворе в Вейссен-фельзе. Отдав за долги полученное от отца имение, он не знал, что сделать с этим сыном и пристроил его у вдовствующей княгини Елизаветы Фредерике, пребывавшей чаще всего в Лейпциге с тем, чтобы он выслуживался при дворе. На ярмарки того времени в город съезжались княжеские дворы; в особенности любил их Август Сильный и поговаривают, что во время одной из них, молодой паж обратил на себя его внимание, благодаря своему миленькому, улыбающемуся личику. Княгиня охотно согласилась, чтобы он был принят на службу у его величества.

Удивительнее всего то, что мальчик, который

такого великолепно, полного этикета двора никогда не только наяву, а может быть и во сне не видал, с первого же дня, благодаря врожденному инстинкту, попал на настоящий путь и так понял свою службу, что далеко превзошел усердием и ловкостью старших и опытных пажей короля.

Король милостиво улыбался ему, так как его забавляла покорность мальчика, который смотрел ему в глаза и угадывал его мысли; он никогда не морщился и с благоговением преклонялся перед величием короля Геркулеса и Аполлона.

В начале ему завидовали сослуживцы, но скоро и их он обезоружил ласковостью, кротостью, скромностью и добрым сердцем. Никто не боялся, что это покорное существо могло высоко пойти, тем более, что он был очень беден, так как семья его хотя и была старого дворянского происхождения, но к тому времени до такой степени обеднела, что и родственники о ней позабыли. Таким образом, единственной его протекцией было миленькое, симпатичное, улыбающееся личико.

И, действительно, он был красив, как картинка... Женщины, в особенности старые, бросали на него очень милостивые взгляды, под которыми он в смущении опускал глаза. Никогда из уст его не вырывалось злое, насмешливое словцо; остроумие составляло характерную черту

придворной молодежи того времени. Брюль выказывал восторг при встрече с властелином, с достоуважаемыми сановниками, дамами, с равными себе, со всей службой и камер-лакеями короля, которым оказывал особенное почтение, как будто тогда уже разгадав великую тайну, что с помощью самых ничтожных и ничего не значащих людей совершались часто величайшие дела, и что лакеи сваливали иногда с ног министров, министрам же трудно было свалить лакеев. Все это подсказывал ему инстинкт, которым богато одарила его щедрая для своих любимцев мать-природа.

И в эту минуту Генрих (так звали пажа) одиноко расхаживал по тропинке, ведущей от шатров к замку; можно было подумать, что он делал это для того, чтобы никому не мешать, но быть готовым каждому оказать услугу в случае необходимости.

Людам такого рода удивительно везет и в счастье... Когда он так разгуливал без всякой цели, из замка выбежал молодой, также прекрасный мальчик, почти ровесник Брюля, но наружностью и платьем совершенно на него непохожий.

По всему видно было, что он был уверен в себе и доволен собой. Высокого роста, мужественный, с черными быстрыми глазами, с гордой осанкой, юноша быстро шел, заложив одну руку за обшлаг широкого, богато вышитого

камзола, другую под полы охотничьего кафтана, обильно обшитого золотым галуном. Парик, который он имел во время охоты, заменял ему шляпу. Черты лица его сильно отличались от миленького личика Брюля, которое было как бы произведением итальянского художника XVII века. Брюль был создан придворным, этот же — воином.

По дороге все ему кланялись и радушно встречали, так как это был товарищ королевича в детских играх, любимый его наперсник, граф Александр Сулковский (тоже сын небогатого польского дворянина), который был взят когда-то ко двору Фридриха в качестве пажа, а теперь управлял домом и охотой. Уже одно это означало много, что королевич доверил ему то, что для него было дороже всего, так как охота составляла не забаву и его развлечение, но серьезное занятие и самый важный труд.

Сулковского почитали и боялись в одно и то же время, потому что хотя Август II при своем здоровьи и силе выглядел бессмертным, но раньше или позже это божество должно было покориться участи простых смертных. А при новом восходящем солнце и эта звезда должна была заблестать на саксонском горизонте.

При виде приближающегося Сулковского скромный паж короля сошел с дороги, принял вид ягненка, немного согнулся, улыбнулся и выказал

такую радость, как будто перед ним стояла прекраснейшая из богинь двора Августа. Сулковский принял эту улыбку и немое полное почтения приветствие с достоинством, но ласково. Издалека потряс он в воздухе рукой, вынутой из-за камзола и немного наклонил голову, убавил шаг, приблизился и обращаясь к Брюлю, весело сказал:

— Как поживаешь, Генрих! Что это ты здесь так одиноко мечтаешь? Счастливый, ты можешь себе отдыхать на славу, а я здесь за все отвечаю и не знаю сам с чего начать, чтобы ничего не забыть.

— Если б вам, граф, было угодно позволить мне помочь вам?

— А, нет, благодарю; нужно исполнять свои обязанности. Для такого гостя, как наш государь, всякий труд ничтожен и приятен.

Он слегка вздохнул.

— Чего ж еще? Охота удалась. Я, как тебе известно, сам не мог там быть, я выслал туда экипаж; ведь в замке столько было приготовлений.

— Да. Охота прошла великолепно. Его величество был в хорошем расположении духа.

Сулковский нагнулся к уху Брюля:

— Кто же теперь царствует у вас в королевской спальне? А?

— Право, не знаю: у нас, как кажется, теперь междуцарствие.

— Полно! Не может быть! — засмеялся

Сулковский. — Кто же, Диескау, что ли?

— О, нет, об этом и говорить давным-давно перестали. Я не знаю кто.

— Как же это, ты, паж короля, и не знаешь? Брюль взглянул на него с улыбкой.

— Даже тогда, когда все знают, паж ничего знать не должен, ему следует быть подобно турецкому «немому», глухим и немым.

— А! Понимаю, — отвечал Сулковский. — Но, между нами... Брюль шепнул на ухо графу словцо крылатое, тихое как шум листочка, падающего осенью с дерева.

— Кажется, что теперь после стольких драм, из которых каждая стоила нашему дорогому государю столько денег, хлопот и горя, мы удовлетворяемся *intermezzo*.

— *Intermezzo!* — сказал Сулковский.

Сулковский, очевидно, перестал торопиться и к шатрам, куда прежде шел, и в замок. Взяв Брюля под руку, что доставило пажу большое удовольствие, задумчивый и серьезный, начал он с ним разгуливать по дороге.

— Я имею свободную минуту, — сказал он, — и мне приятно провести ее в вашем обществе, хотя мы оба до того устали, что может быть, и говорить то будем с трудом.

— О! Я нисколько, — возразил Брюль, — и верьте мне, граф, что для вас я готов ходить целую

ночь и не почувствую усталости. С первой же минуты, когда имел счастье приблизиться к вам, я почувствовал в одно время глубочайшее уважение, и, если только позволительно мне сказать, самую искреннюю дружбу. Должен ли я признаться? Скажу вам, что я выбрал для прогулок эту тропинку, как бы предчувствуя, что издали увижу вас и приветствую, и вдруг такое счастье!

Сулковский взглянул на радостное сияющее лицо его и пожал протянутую руку.

— Верьте мне, — сказал он, — вы не найдете во мне неблагодарного; такая безынтересная дружба при дворе очень редка, и взявшись за руки вдвоем можно далеко пойти.

Глаза их встретились, Брюль наклонил голову.

— Вы при короле, и притом на хорошем счету.

— О, о, — отвечал Брюль, — не льщу себе...

— Уверяю вас. Я слышал это из собственных уст его величества, он хвалил вашу услужливость и ум. Вы в милостях или, по крайней мере, на пути к ним... это от вас самих зависит.

Брюль очень скромно сложил руки.

— Не льщу себе...

— Я вам говорю, — повторил Сулковский. — Я пользуюсь любовью Фридриха, могу похвастаться тем, что он называет меня своим другом. Надеюсь, что ему трудно было бы обойтись

без меня.

— Вы, это совсем другое дело, — живо прервал Брюль, — вы были столь счастливы, что с детских лет были товарищем королевича, у вас было достаточно времени расположить его к себе, и кто бы не привязался к вам, узнав вас поближе?.. Что же касается меня, то я здесь совсем чужой. Княгине я обязан тем, что нахожусь теперь при особе его величества. Я стараюсь выказать мою благодарность, но на скользком паркете двора удержаться очень трудно. Чем больше окажу я усердия господину, которого уважаю и люблю, тем более завидуют мне. Каждая улыбка господина моего куплена мной ценою не одного ядовитого взгляда. Тут человек мог бы быть счастливым, а я должен дрожать.

Сулковский рассеянно слушал.

— Да, это правда, — тихо произнес он, — но вы имеете многих за себя и бояться вам нечего. Я наблюдаю за вами, вы приняли удивительный метод: скромны и терпеливы. При дворе важнее всего устоять на месте, а тогда подвинешься, а кто слишком горячо бросается вперед, тот легче всего и падает.

— Я упиваюсь дорогими советами вашими! — воскликнул Брюль. — Какое счастье иметь такого руководителя!

Сулковский, казалось, взял за чистую монету

это восклицание друга и с незаметной гордостью улыбнулся. Ему польстило признание того, в чем он был в душе убежден.

— Не бойся, Брюль, — прибавил он, — иди смело и рассчитывай на меня.

Слова эти, казалось, привели в величайший восторг молодого Генриха, он сложил руки как бы для молитвы, лицо его просияло от радости, он взглянул на Сулковского, и как будто бы колебался не броситься ли ему в ноги.

Великодушный граф с достоинством обнял его.

В эту минуту из замка раздались звуки труб: это был знак, понятный молодому фавориту, который рукой только показал товарищу, что должен торопиться и быстро пошел по направлению к замку.

Оставшись один, Брюль сначала сам не знал, что с собой сделать. Король освободил его от вечерних услуг и позволил ему употребить этот вечер на отдых; таким образом, он имел полную свободу. В шатрах приступали к ужину. Он хотел было идти туда и повеселиться вместе с другими, но посмотрев только издали в ту сторону, он свернул и задумчиво пошел по тропинке, ведущей в глубь леса. Быть может, он хотел собраться с мыслями, хотя лета его и личико не позволяли подозревать в нем глубоких размышлений. Скорее

следовало подозревать у него какую-нибудь сердечную болезнь, при дворе столь полном разных любовных похождений и женских интриг. Но на спокойном лице нельзя было заметить сердечной тоски и забот, которые имеют свои характерные симптомы. Брюль не вздыхал, но взгляд его был холоден, брови были сморщены, губы сжаты; скорее он что-то рассчитывал и соображал, нежели боролся с чувством.

Так, глубоко задумавшись, он прошел мимо шатров, лошадей, псарен, мимо костров, разложенных людьми, согнанными для отыскания зверя, которые ели добытый из мешков черствый черный хлеб, тогда как для знати тут же рядом приготавливали жаркое из оленьего мяса. Эти двести человек Вендов беседовали тихо, на непонятном языке, не смея даже громко смеяться. Из лагерей доходили до них веселые возгласы и чем более там шумели, тем тише старались они сидеть.

Несколько охотников наблюдали за этой толпой, которая из дому должна была принести себе хлеб, так как только о ней одной не помнили в замке. Для собак варили в котле пищу, а о них никто не заботился. Скоро покончили они свой скудный ужин, состоявший из хлеба и воды. Большая часть легла под деревьями на траве, чтобы подкрепить себя сном. Брюль, едва взглянув на них, пошел далее.

Вечер был прекрасный, тихий, теплый, ясный, и если бы не падающие со старых буков желтые листья, он бы напоминал весну. В воздухе вместе с легким чуть заметным ветерком, который еле шевелил малыми ветками, расплывался здоровый запах лесов и увядшей зелени, перемешиваясь с пьянящим запахом ели и сосны. За лесом, в котором ночевала свита, была тишина, спокойствие и пустыня. Шум из леса чуть слышен и то временами только долетал сюда, и деревья закрывали замок, так что можно было считать себя одиноким, можно было предположить, что нет поблизости людей.

Брюль поднял голову и вздохнул свободнее, лицо которого теперь никто не мог видеть, оно получило совершенно другое, новое выражение, легкая саркастическая улыбка пробежала по губам, и исчезла детская добродушная и кроткая прелесть личика. Одной рукой он уперся в бок, другую приложил к губам и задумался.

Он считал здесь себя совершенно одиноким, и потому каково было его изумление, почти испуг, когда он увидал под огромным старым буком две какие-то личности, неизвестные, странные, подозрительные. Невольно он отступил назад и стал пристально всматриваться. Действительно, в нескольких только десятках шагов от королевского лагеря даже эта пара людей, сидящих под деревом,

могла показаться подозрительной. Около них лежали посохи и два мешка, только что снятые с плеч. Сумерки не позволяли хорошо рассмотреть их лица и платье; но Брюль догадался скорее, чем увидел, двоих, подобных себе, молодых людей, одетых в скромное дорожное платье.

Присмотревшись внимательнее, он отчасти уловил их черты лица, которые показались ему более благородными, чем у странствующих ремесленников, за которых он было их принял. Они говорили тихо, и он не мог уловить ни слова.

Но что могли делать эти путешественники здесь в нескольких шагах от короля? Любопытство, беспокойство и недоверие приковали его внимание. Ему пришла мысль, что может быть следует дать знать в шатры; но затем, ведомый скорее инстинктом, чем расчетом, он прибавил шагу и остановился перед сидящими на земле. Появление его должно было немного удивить отдыхающих, так как один из них поспешно встал и, всматриваясь в новоприбывшего, хотел как бы спросить, что он здесь делает и чего от них хочет.

Брюль не стал ждать, пока его спросят, подошел еще ближе и довольно суровым голосом сказал:

— Что вы здесь делаете?

— Отдыхаем, — отвечал сидящий на земле. — Разве здесь запрещено отдыхать

путешественникам?

Голос был кроткий, а манера разговора указывала на человека образованного.

— В нескольких десятках шагов отсюда двор его величества и сам король.

— Разве мы можем ему помешать? — проговорил опять сидящий на земле, на которого это известие не произвело никакого впечатления.

— Но ведь вы сами себе можете повредить, — живо сказал Брюль. — Какой-нибудь ловчий может вас здесь накрыть и предположить какой-нибудь злой умысел с вашей стороны.

Ответом на эти слова был кроткий смех сидящего на земле, который затем встал и вышел из густой тени, бросаемой листвой деревьев. Это был юноша с прекрасной и благородной осанкой, с длинными волосами, падающими в кудрях на плечи. По платью легко было догадаться, что это студент одного из немецких университетов. Он не имел на себе никаких отличительных знаков, но простое платье, длинные сапоги, выглядывающая из кармана книжка и шапочка, какую обыкновенно носили студенты, отлично указывала на его звание.

— Что вы здесь делаете? — повторил Брюль.

— Мы отправились путешествовать, чтобы почтить Бога в природе, чтобы подышать воздухом лесов и тишиной их, сделать душу более способной молиться, — тихо начал говорить юноша. — Ночь

нас здесь застала: о короле же и о его дворе мы ничего не знали, если бы не долетал сюда временами шум пирующих охотников.

Как сами слова, так и тон голоса стоящего перед ним поразил Брюля. Этот человек принадлежал другому какому-то слою общества; но во всяком случае не тому, к которому его можно было причислить по первому взгляду.

— Вы позволите, — спокойно прибавил студент, — чтобы вам, как имеющему здесь какую-то власть, я отрекомендовал себя. Я Николай Людовик, граф и владелец Цинцендорфа и Поттендорфа, а в данную минуту ищущий источник мудрости и света, путешественник, заблудившийся на бездорожье света.

Он поклонился.

Услыхав эту фамилию, Брюль взглянул на студента внимательнее. Вечерний свет и легкий блеск восходящей луны осветили красивое лицо говорящего.

С минуту оба стояли молча, как бы не зная, каким языком им говорить.

— Я — Генрих Брюль, паж его величества. И он чуть заметно поклонился Цинцендорфу смерил его глазами.

— А!.. Мне вас очень жалко, — вздохнул он.

— Как жалко, почему? — спросил изумленный паж.

— Потому, что быть придворным — это быть невольником, быть пажом — это быть слугой и хотя я уважаю нашего государя, но предпочитаю посвятить свою жизнь Господу на небесах, царю всех царей и жить любовью Иисуса Христа Спасителя. Именно вы нашли нас, тихо молящимися, так как мы старались соединиться с Господом, который пролил за нас свою кровь.

Брюль так был изумлен, что сделал шаг назад, как будто принял юношу за сумасшедшего, так как он произнес эти слова хотя и кротким голосом, но уже слишком патетически.

— Знаю я, — прибавил Цинцендорф, — что вам, у которого звучат в ушах смех и веселые слова придворных, должно это показаться странным, может быть даже неприличным; но когда появляется возможность разбудить набожную мыслью усыпленное сердце христианина, почему ей не воспользоваться.

Брюль стоял пораженный. Цинцендорф приблизился к нему.

— Это час молитвы... Слушайте, как лес шумит... Это он поет вечерний гимн: «Слава отцу на небесах!» Ручей тоже журчит молитву, месяц взошел, чтобы светить молящейся природе; так неужели же сердца наши не соединятся со Спасителем в эту торжественную минуту?

Ошеломленный паж слушал и, казалось,

ничего не понимал.

— Вы видите перед собой чудака, — прибавил Цинцендорф, — но ведь вы встречаете не мало великосветских чудаков и прощаете им; почему бы не отнестись снисходительно к экстазу, который есть только следствие горячей восторгающейся души.

— Право... — прошептал Брюль, — я и сам набожен, но...

— Но, вероятно, прячете вашу набожность на дне сердца, опасаясь, чтобы ее не осквернила рука и слово профанов. — Я же выставляю ее, как знамя, которое готов защищать моей жизнью и кровью. Брат, — прибавил он, приближаясь к Брюлю, — если вам стало тяжело в этой бешеной и вертлявой придворной жизни, потому что только так можно объяснить вашу одинокую прогулку, сядьте здесь, отдохните с нами, вместе с нами помолитесь; я чувствую в себе жажду молитвы, а она, соединившись в одно моление, из двух, трех братних уст, крепнет и долетит к подножию престола Того, который за ничтожных тварей отдал бесценную жизнь свою.

Брюль, как бы испугавшись, чтобы его не задержали, несколько попятился назад.

— Я имею обыкновение молиться один, без свидетелей, — сказал он, — а там меня призывают служба и обязанности. Поэтому извините меня.

И он указал рукой в ту сторону, откуда долетал шум. Цинцендорф встал.

— Жалко мне вас! — воскликнул он. — Если бы мы здесь под этим величественным деревом запели вечерний гимн: «Бог наша защита, Бог надежда наша»...

— Тогда, — подсказал паж, — услышал бы это ловчий, или какой-нибудь подкоморий короля и нас не заперли бы в кордегардию только потому, что ее здесь нет, но отвезли бы в Дрезден, под Фрауэнкирхе и посадили бы на гауптвахту.

Говоря это, он пожал плечами, легко наклонил голову и хотел уйти. Но Цинцендорф загородил ему дорогу.

— Разве действительно запрещено здесь оставаться? — спросил он.

— Это может навлечь на вас подозрение и доставит много неприятностей. Я советую вам лучше удалиться. За Губертсбургом есть деревня и постоянный двор, в котором вы удобнее переночуете, нежели на буковом пне.

— Какой же дорогой нам нужно идти, чтобы не повстречаться с кем-либо из людей его величества? — спросил Цинцендорф.

Брюль указал рукой и уже хотел уйти, но затем остановился и прибавил:

— Выйти на дорогу трудновато, граф, но если вам угодно принять мои услуги, то я вас выведу.

Цинцендофр и его молчаливый товарищ подняли свои узелки и палки и пошли за Брюлем, который, казалось, нисколько не радовался этой встрече.

У Цинцендорфа было достаточно времени, чтобы прийти в себя и освободиться от экстаза, в котором внезапно появившийся Брюль застал его. В нем был виден человек высшего общества, очень деликатный и любезный. Успокоившись совершенно, он извинился даже за то, что так странно говорил.

— Не удивляйтесь, — холодно сказал он, — мы все зовем себя христианами и сынами Бога, на самом же деле мы ничто иное, как язычники, хотя и давали обещание при святом крещении. Поэтому обязанность каждого — проповедовать, и я из этого сделал задачу моей жизни. Какая польза в словах, если ее нет в деле. Католики, протестанты, реформаторы — все мы, все мы язычники. Мы не почитаем богов потому что нет их алтарей; но мы приносим им жертвы. Несколько священников спорят и плюют себе в глаза из-за догматов, а Спаситель на кресте обливается кровью, которую напрасно примает в себя земля, потому что люди не хотят спасения.

Он вздохнул.

В то время, когда он закончил эти торжественные слова, лагерь представился их

глазам и из него донесся звон от чаш, которыми чокались с шумом. Цинцендорф взглянул с ужасом.

— Разве это, — воскликнул он, — не вакханалия! Идемте скорее, мне стыдно за них!

Брюль, шедший впереди, не сказал ни слова.

Таким образом они прошли мимо лагеря. Брюль указал им дорогу, а сам бросился к первому освещенному шатру, как бы желая избавиться скорее от этого общества. Еще в ушах у него звучали странные слова Цинцендорфа, когда ему представилась в шатре новая оригинальная картина. Правда, в те времена и при этом дворе она была довольно обыкновенна, и ему нечего было особенно удивляться, однако, немногие показывались публично в таком положении, в каком застал Брюль военного советника Паули.

Он лежал посреди шатра на земле, около него валялись осколки огромной пустой бутылки: руки были разбросаны, так что его фигура изображала из себя крест: лицо багрово-красного цвета, платье растегнуто и изорвано, а большая гончая собака, вероятно его любимая, сидела над ним, лизала его физиономию и выла...

Стоящие кругом от души хохотали.

Паули, должность которого состояла в том, чтобы быть всегда под рукой у короля, ради обширной корреспонденции, которую как в трезвом, так и в пьяном виде он заведовал довольно

удачно и даже с канцелярскою ловкостью, уже не впервые был так несчастливо побеждаем бутылкой. Случалось ему часто спать и на мягкой постели, и под скамейкой у стены, после таких возлияний; но так скандально как сегодня быть посмешищем... это превышало меру.

Брюль, лишь только заметил это, бросился к несчастному и начал поднимать его с земли. Другие, опомнившись, помогли, и с немалым трудом удалось уложить его на постель из свежего сена, приготовленную в углу. В эту минуту, когда они втроем подняли его с земли, Паули обвел окружающих осоловелыми глазами и пробормотал:

— Спасибо, Брюль... я все знаю, понимаю... я не пьян... так это только... сделалось дурно. Ты славный мальчик... Спасибо тебе.

Так говоря, он, закрыв веки, тяжело вздохнув, проворчал:

— Вот служба... — и уснул.

II

В замке королевском пажи Августа II имели комнаты, в которых, ожидая приказаний, отдыхали. Лошади для них, на случай, если который будет послан, всегда были готовы. Они поочередно исполняли службу у дверей и в передней, сопровождали короля, а часто, когда не было кого

под рукой постарше, были посылаемы с различными письмами и приказами. Усерднее всех исполнял эту непривлекательную службу Брюль; он дежурил за себя и весьма охотно за других, так что король, часто его видя, привык к его услугам и его лицу.

— А ты здесь опять, Брюль? — спрашивал он с улыбкой.

— Готов исполнять приказания вашего величества!

— Тебе не надоело это разве?

— Я так счастлив, когда мне выпадает счастье лицезреть ваше величество.

И молодой человек кланялся, а его величество хлопал его обыкновенно по плечу.

Никогда у него не было недостатков в ответе, ничего для него не было трудным или невозможным; бегом, с удивительной поспешностью исполнял он поручения. В этот день обыкновенно приходили отчеты и отправлялись ответы, ожидаемые с утра; в то время почты были очень неисправны, то лошадь падет, то случится разлив реки, или почтальон заболеет, так что время прихода почты не было строго определено. С утра советник Паули, который составлял королю депеши, ожидал отчетов и приказов.

Сначала он ждал очень терпеливо.

Паули, несчастный вид которого мы видели в

Губертсбурге, выпался отлично, умылся и встал, не чувствуя ничего, кроме мучительной жажды.

Он знал, что мать-природа употребляет хитрость, чтобы принудить его пить воду, но он давно зарекся не пить ее, чувствуя к ней отвращение и презрение и обыкновенно говаривал, что Бог сотворил ее для гусей, а не для человека. Таким образом хитрость природы не удалась, и он утолил жажду пивом. Тотчас же ему полегчало и сделалось веселей, а вскоре совсем прошла эта болезнь, оставив только смутное воспоминание.

Вспомнил, однако, Паули, как в один несчастный день Брюль его спас и уложил на постель, а с этого времени началась дружба между старым Паули и молодым пажом.

Брюль, который никем и ничем не пренебрегал, привязался к советнику. Это был человек уже немолодой, тяжело измученный страшной службой у бутылки, при том же неизмеримо полный — что мешало свободе движений: ноги уже не особенно хотели служить и после обеда, всегда, как только представлялась возможность, хотя бы и стоя, он готов был дремать.

Лицо Паули было румяно, с фиолетовым оттенком, черты лица заплыли, подбородок в несколько этажей. Руки, ноги и весь он казался как бы опухшим.

Несмотря на это, когда он принарядится ко

двору, застегнется, выпрямится и примет свою служебную придворную осанку, его можно было принять за человека с большим весом. Он так привык к королю, и король к нему, что по одному слову или взгляду Августа воспроизводил целое письмо, угадав мысль, попав на надлежащую форму, и никогда его величеству не приходилось его исправлять. Поэтому он очень любил Паули и так как постоянно в нем нуждался, то и хотел иметь его всегда под рукою; король великодушно прощал его даже в тех случаях, когда он до такой степени напивался, что был не в состоянии подняться и явиться по требованию короля.

Тогда трое камердинеров должны были расшевеливать его, а Паули, не открывая глаз, ворочаемый на постели, отвечал на все: — «Сейчас! Сию минуту!» Вот и готов! «Сию секунду»... Но не вставал до тех пор, пока у него не испарялся из головы остаток излишков вина.

Когда он немного трезвел, то, умывшись холодной водой, требовал рюмку чего-нибудь крепкого для прояснения мыслей и тогда только шел к королю.

Подобные вещи тогда случались не с ним только одним, напивался и друг короля Флеминг, да и многие другие. Над этим только смеялись, хотя иметь слабую голову считалось большим позором.

В этот день, в который, как мы говорили,

ожидали отчетов, Паули сидел в Маршалковской ¹ зале и зевал. Он расселся в широком, удобном кресле, сложил руки на животе, немного опустил голову, удобно поместив ее на многоэтажном подбородке, и размышлял. О сне и речи не могло быть, потому что кто же может заснуть натошак и отправиться с Морфеем в дальнее путешествие в края мечтаний без чемодана с припасами.

Картины, развешанные по стенам комнаты, были давным-давно знакомы ему, так что не могли его занимать. Время от времени он зевал, но зевал так ужасно, что челюсти трещали.

Это было зрелище, раздирающее душу. Паули, такой серьезный, заслуженный, должен зевать натошак!

Часы указывали десять, затем одиннадцать, и советник сидел, зевал и вздрагивал, так как по телу бегали мурашки вследствие голода. В эту минуту он был самым несчастным из людей.

В этой же зале постоянно сновали пажи, подкомории, камергеры, лица, ожидающие аудиенции или возвращающиеся от короля. Но никто не осмелился беспокоить господина

¹ Маршалок — это управляющий домом и прислугой знатных особ. Этим именем называют также и предводителя дворянства.

советника.

В одиннадцать часов вошел Брюль, который ожидал своего дежурства. Он был прекрасен, как ангел, в своем пажеском костюме, надетом с большой кокетливостью. Лицо его, как обыкновенно, веселое, выражало все ту же кротость и любезность. Никто не был прекраснее сложен, не имел более изящной ноги, более изящных и свежих кружев при манжетах, лучше сидящего фрака и искусно завитого парика. Глаза его смеялись, перебегая по лицам и стенам. Как чародей, он всех располагал в свою пользу улыбкой, словом, жестом, всей своей особой. Увидав его, советник, не вставая, протянул ему руку.

Брюль быстро подбежал.

— Как я счастлив! — воскликнул он и покорно поклонился.

— Ты только один можешь спасти меня, Брюль! Вообрази себе, я еще ничего не ел. Когда придут счета и отчеты?..

Паж посмотрел на часы и пожал плечами.

— Кто знает? — отвечал он на итальянском языке, который стал входить в моду при дворе Августа наравне с французским, и был почти языком двора, потому что тогда в Дрездене мало-помалу начала увеличиваться итальянская колония.

— Одиннадцать часов, а я еще ничего не ел.

Натура дает себя знать. Придется умереть с голода.

Говоря это, Паули зевнул и сильно вздрогнул:
— Брр!..

Брюль стоял, как бы размышляя, затем нагнулся к уху Паули и шепотом сказал:

— Господин советник, *est modus in rebus!* Зачем вы уселись на этой проезжей дороге? Рядом есть комната, двери которой выходят в коридор, ведущий в кухни и буфеты; там пока что будет, отлично можно было бы закусить, велев подать что-нибудь из кухни и другое «что-нибудь» из погреба.

У доброго советника загорелись и засмеялись глаза. — Он тотчас двинулся, но не легко ему было встать. Он уперся обеими руками в ручки кресла, локти поднялись вверх, и с трудом, кряхтя, приподнял он, наконец, свое массивное тело.

— Спаситель мой, — воскликнул он, — спасай же меня несчастного!

Брюль сделал знак и оба скрылись быстро за дверьми, очутившись в кабинете с одним окном.

Здесь, как будто ожидая Паули, какая-то сверхъестественная сила уже заранее приготовила стол. Перед ним стояло кресло, широкое, удобное, сделанное как бы по мерке для Паули; на белой как снег скатерти, стояла фарфоровая, белая с синими узорами посуда, маленькая чашка, маленькое блюдце с крышкой и порядочный кувшинчик с

искрящимся золотистым вином.

Паули, увидав все это, сделал рукою в воздухе движение и, как бы опасаясь, чтобы кто не предупредил его, ничего не спрашивая, поспешно занял место, завязал на грудь салфетку, протянул руку к чашке и, только тогда вспомнив Брюля, повернулся:

— А вы?

Паж отрицательно покачал головой.

— Это для вас, любезный советник.

— Да вознаградят тебя боги! — воскликнул Паули в восторге. — Венера пусть даст тебе самую красивую из дрезденских девушек, Гигея пусть даст тебе желудок, способный переваривать камни, пусть Вакх возбудит в тебе вечную жажду и средства для удовлетворения ее венгерским, пусть...

Но кушанье не дало ему закончить, он всецело в него погрузился. Брюль стоял, опершись одной рукой на стол, и с улыбкой смотрел на советника; Паули налил себе первый стакан вина. Он ожидал найти легкое обыкновенное венгерское, какое подавали свите, но когда приложил край стакана к губам и потянул, лицо его прояснилось, засияло, глаза загорелись, а выпив до дна, он упал на спинку кресла и с наслаждением проводил руками по груди.

Ангельская улыбка пробежала по его губам.

— Божественный напиток! Чародей ты мой, откуда ты добыл его? Я его знаю, это королевское вино. Это ведь амброзия, нектар!

— Удостойте же его ласковым вниманием и не давайте стакану сохнуть, а кувшину идти в руки профанов, которые вольют его в горло как простое вино.

— Да ведь это было бы святотатство! — воскликнул советник, наливая вторую чашу, равную объемистому стакану. — За ваше здоровье, за ваше счастье, Брюль! Я буду тебе благодарен до смерти; ты спас мне жизнь! Еще полчаса и мой труп вынесли бы на Фридрихштадт. Я уже чувствовал, как жизнь улетала из меня.

— Я очень рад, что недорогой ценой мог угодить вам; но пейте же, пожалуйста.

Паули опрокинул в горло и вторую чашу, щелкнул языком, и изображая рукою в воздухе как бы полет птицы, сказал:

— О, какое вино, какое вино! Это такого рода напиток, что каждая следующая рюмка вкуснее предыдущей. — Это как верный добрый друг, которого чем более узнаешь, тем более к нему привязываешься. Но, Брюль, что будет, если придут депеши, если его величество позовет меня, если нужно будет писать письма в Берлин или Варшаву, или в Вену?..

Он вопросительно повернул голову, но в то же

время наливал третий бокал.

— Что значит для вас такой кувшинчик! Что это? Это только легкое возбуждение. Это... ничего!

— Ты прав, Брюль... ей Богу прав; не такие вещи мы делали, — засмеялся Паули. — Самая скверная вещь — это смешивать напитки. Кто же может догадаться, в каких они между собой отношениях? Встретятся иногда непримиримые враги, австрийское вино с французским: начинается баталия в желудке и голове; но когда честным образом пьется одно, испытанное, зрелое вино, то нет опасности; оно преспокойно располагается себе внутри, как ему удобнее, а вреда никакого не делает.

Говоря это, Паули ел жареное мясо, залитое мастерски приготовленным соусом, и, постоянно улыбаясь, угощал себя токайским. Брюль стоял и наблюдал, а когда чаша опоражнивалась, он, взяв кувшинчик в руку, наливал ее снова.

Наконец, блюдо опустело, хлеб исчез, и только половина кувшинчика была еще полна вином.

Паули вздыхал, смотря на это, и ворчал:

— А депеши?

— Разве вы можете бояться?

— Да, ты прав, если бы я боялся, я бы был трусом, а я не знаю ничего позорнее этого. Наливай! За твое здоровье! Ты пойдешь высоко!.. В

голове у меня проясняется, мне кажется, что солнце выглянуло из-за туч. Как теперь все смотрит весело! Я чувствую теперь удивительную способность великолепно, неподражаемо писать. Эх, если бы король дал мне составить какое-нибудь необыкновенное письмо! Вот бы я настрочил!..

Брюль постоянно наполнял бокал.

Паули посматривал на кувшин, который снизу был шире и должен был содержать в себе еще порядочное количество вина.

— Мне нечего бояться, — говорил он, как бы для своего собственного успокоения. — Не знаю, помните ли вы, как однажды, в невыносимо жаркий день, его величество послал меня к той несчастной богине, которая звалась Козель; там меня попотчевали таким предательским вином. Вкусно оно было, как вот это токайское, но поистине предательское. Я вышел на улицу и вижу, что все вокруг меня так и танцует. О, плохо дело, а нужно было идти к королю писать депеши. Двое придворных подали мне руки и казалось мне, что я лечу, что у меня выросли крылья! Посадили меня за стол, даже перо должны были обмакнуть и подать мне в руку, и бумагу положить передо мной. Король сказал несколько слов, и я произвел на свет депешу, как мне потом говорили, неподражаемую, великолепную! Но на другой день, и до сих пор, хоть убей, не знаю, что я писал! Достаточно того,

что было хорошо и король, смеясь, в память этого происшествия подарил мне перстень с рубином.

Из кувшина вино все лилось в бокал, а из бокала в горло. Паули гладил себе грудь и улыбался.

— Собачья служба! — сказал он тихо. — Но вино такое, какого в другом месте и не понюхаешь даже.

Кувшин среди разговоров и вздохов пришел к концу. Последний бокал был уже мутный. Брюль хотел его принять.

— Стой! — крикнул советник. — Что ты делаешь? Природа выделила эти части не затем, чтобы их выливали, но чтобы скрыть на дне настоящую суть вина, эликсир, и самые питательные части!

Когда Паули протянул руку за бокалом, Брюль вынул из-под стола другой кувшин. При виде его советник хотел подняться, но радость приковала его к креслу.

— Что это? — крикнул он. — Что я вижу?..

— Ничего, ничего, — тихо сказал паж, — это только второй том произведения, заключающий в себе его окончание. К несчастью, — продолжал он весело, — стараясь доставить вам произведение с началом и концом, вам, столь любящему литературу...

Паули сложил руки на груди и наклонил

голову.

— Боже мой, да кто же не любит такой литературы! — вздохнул он.

— Итак, — продолжал Брюль, — стараясь доставить вам полное произведение, я не мог достигнуть того, чтобы оба тома были одного издания. Вот этот второй том, — продолжал он, медленно приподнимая бутылку, покрытую плесенью, — раньше издан — это *edito princeps* ².

— Прелестно! — воскликнул Паули, придвигая рюмку. — Налейте же мне этого сокровища, только одну, единственную страничку: не следует ведь злоупотреблять такой древностью.

— Но какая в нем польза, когда оно выдохнется и дух веков улетучится из него?

— Правда, тысячу раз правда! Но депеши, депеши! — воскликнул Паули, пожимая плечами.

— Сегодня депеши не придут, все дороги испорчены.

— Ну их! Если бы еще все мосты провалились! — вздохнул советник.

Рюмка была налита, и Паули выпил ее.

— Это вино только король пьет, когда чувствует себя не совсем здоровым, — шепнул Брюль.

² Более раннее издание.

— Panaceum universale ³ !.. Губки прелестнейшей в мире женщины не могут быть слаще этого.

— Вот как? — заметил Брюль.

— Для тебя, — продолжал Паули, — это совсем другое дело, но для меня они потеряли свою притягательную силу; но вино — это нектар, который до самой моей смерти не потеряет своей прелести. О, если бы не депеши!..

— Что же такое депеши, неужели вы все еще о них думаете?

— И то, провал их возьми!..

Советник продолжал пить, но эти слишком частые возлияния начали на него действовать, и он, усевшись удобнее в кресле, начал сладко улыбаться и щурить глаза.

— Теперь вздремнуть бы немного и...

— Прежде нужно закончить бутылку, — не уступал паж.

— Конечно, ведь обязанность всякого честного человека или не браться за дело или кончать его, неправда ли? — продолжал советник. — Это дело совести, и потому по совести должно быть и совершено.

Когда был наполнен последний бокал, Брюль

³ Лекарство от всех болезней.

взял с окна трубку и кисет с табаком.

— Господин советник, теперь трубку!

— Милый ты мой, — воскликнул в умилении Паули, открывая глаза, — и об этом ты не забыл! Ну, а ежели от этого зелья я опьянею еще более? Как ты думаешь?

— Напротив, вы протрезвитесь, — прервал Брюль, подавая трубку.

— Как тут будешь противиться искушению! Дай, дай! Чему быть, того не миновать! Может быть почтальон свернет себе шею, и депеши не придут так скоро. Я не желаю ему зла, но пускай бы его немного так... вывихнул...

Оба рассмеялись, и Паули жадно начал глотать дым.

— Чертовски крепкий табак!

— Это королевский, — сказал паж.

— Да, но ведь король куда крепче меня.

Табак оказал свое действие, старик начал что-то бессвязно бормотать; затянулся еще раза два, и трубка выпала из его рук, он опустил голову на грудь и, перегнув ее на бок, немилосердно захрапел. Из полуоткрытого рта вылетали самые разнообразные и неприятные звуки.

Брюль некоторое время посмотрел на него, затем улыбнулся тихо, на цыпочках подойдя к дверям, вышел в коридор, где пробыл немного и побежал в переднюю короля.

Здесь его задержал молодой изящный юноша в костюме пажа. В нем проглядывал барич. Это был граф Антоний Мошинский. Его нельзя было не заметить между другими пажами короля, благодаря его белому личику и черным волосам. Черты лица его были, хотя и не особенно красивые, но выразительные; аристократическая же осанка и немного ненатуральные манеры делали его весьма заметным. Он вместе с Сулковским долгое время служил при королевиче, теперь же на время был определен к королю Августу И, который, как поговаривали, любил его ловкость и ум. Ему предсказывали тогда блестящую карьеру.

— Брюль, — спросил он, — где ты был?

Паж как будто колебался, не зная, что сказать.

— В маршалковской зале.

— Теперь ведь твое дежурство?

— Знаю, но ведь я не опоздал, — и он взглянул на часы, стоящие в углу.

— А я думал, что мне придется дежурить за тебя, — прибавил Мошинский, смеясь и переступая с ноги на ногу.

По лицу Брюля пробежало что-то вроде тени, но оно тотчас же прояснилось.

— Граф, — кротко сказал он, — вам, фаворитам короля, позволительно опоздать на час и на свои места поставить другого, но мне, бедному и выслуживающемуся, это было бы непростительно.

При этом он очень низко поклонился.

— Я не раз заменял других, меня же никто.

— Ты хочешь сказать, что никто не в состоянии заменить тебя? — прервал Мошинский.

— Граф, к чему смеяться над бедным невеждой. Я еще учусь тому, что вы давным-давно постигли. — И он опять низко поклонился.

Мошинский подал ему руку.

— С вами, — сказал он, — опасно сражаться на словах, я предпочел бы на шпагах.

Брюль тихо и скромно отвечал.

— Я ни в чем не признаю себя выше вас.

— Ну, желаю всего хорошего, — сказал Мошинский. — Теперь наступает час вашего дежурства, до свидания. — Говоря это, он вышел из передней.

Брюль вздохнул свободнее. Тихо подошел он к окну и стал в него равнодушно смотреть на двор, вымощенный каменными плитами и имеющий вид громадной залы. Прямо перед окном, в которое он смотрел, сновало множество занятых и деятельных слуг и приближенных короля. Военные в роскошных латах и мундирах, камергеры в кафтанах, шитых золотом, камердинеры, лакеи и бесчисленное множество людей, составлявших двор короля, суетились и бегали. Несколько носилок стояло у лестницы, а носильщики, одетые в желтые

платья ожидали своих господ ⁴; далее несколько изящных экипажей и верховые лошади в немецкой или польской сбруе; тут же стояли гайдуки в ярко красных костюмах и казаки. Все это представляло из себя живописную и пеструю картину.

Камергер вышел от короля.

— Что депеши еще не пришли? — спросил он у Брюля.

— Нет еще.

— Как только принесут их, приходите с ними к королю. А Паули?..

— Он в маршалковской зале.

— Хорошо, пусть ждет. Брюль поклонился.

Комната начинала пустеть, так как наступающее обеденное время заставляло всех спешить домой.

Долго смотрел Брюль нетерпеливо в окно и, наконец, увидел, как влетел во двор на измученной лошади почтальон, с рожком, висящим на шнурке, перекинутом через плечо, в огромных сапогах и с кожаной сумкой на груди.

⁴ Довольно долго в Польше существовал у знати обычай ездить по городу не в экипажах, но, в так называемых, лектыках, то есть роскошных носилках, которые несли четыре, шесть или восемь носильщиков. Если же выезжали в экипаже, то впереди бежал обыкновенно один или несколько скороходов.

Лишь только Брюль его заметил, как тотчас бросился по лестнице и прежде, чем прислуга успела взять от почтальона запечатанную кипу писем, он схватил их и, положив на серебряный поднос, стоящий наготове в передней, пошел к королю.

Август ходил по комнате с Гоимом. Увидав пажа, поднос л бумаги, он протянул руку и быстро сорвал печати. Он и Гош» приблизились к столу и начали просматривать принесенные письма.

Брюль стоял, ожидая приказаний.

— А, а! — воскликнул Август. — Скорее позовите Паули! Брюль даже не пошевелился.

— Идите, позовите мне Паули! — нетерпеливо повторил король. Паж поклонился и, выбежав, вошел в кабинет.

Паули спал, точно мертвый; тогда он вернулся к королю.

— А Паули? — спросил король, видя, что паж входит один.

— Ваше величество... — начал, заикаясь, Брюль, — советник Паули... советник Паули...

— Где он? Здесь?

— Здесь, ваше величество!

— Что же он не идет?

— Советник Паули, — прибавил паж, опуская глаза в землю, — находится в невменяемом состоянии.

— Если ты найдешь его умирающим, и тогда даже приведи его ко мне! — крикнул король. — Пусть прежде исполнит свою обязанность, а потом умирает, если хочет.

Брюль опять стремительно побежал в кабинет, посмотрел на спящего, улыбнулся и вернулся к королю. Гнев короля возрастал, глаза пылали и лицо побледнело, что было самым скверным признаком. Когда этот король-силач совершенно бледнел, тогда все окружающие его дрожали от страха ⁵.

Брюль, не говоря ни слова, остановился у дверей.

— Паули! — крикнул король, топая ногой.

— Советник Паули находится в...

— Пьян? — прервал король. — Противное животное! Не мог даже на несколько часов

⁵ Август II отличался необыкновенной силой, которая вошла в поговорку. Однажды в дороге у его лошади отвалилась подкова. Остановившись у кузницы, он велел кузнецу сделать новую. Но когда тот принес ее, то Август, взяв в руки, свободно переломил ее, то же случилось со второй и третьей и только четвертую он не мог сломать. Тогда он дал кузнецу талер, но тот, улыбнувшись, переломил его; король дал другой, третий, четвертый, но кузнец продолжал ломать и их, и только тогда остановился, когда Август дал ему сразу несколько.

воздержаться от вина. Облить его водой. Сведите его к фонтану и дайте ему уксусу. Пусть доктор даст ему какое-нибудь лекарство и протрезвит его хоть на час, а потом пусть себе издыхает эта скотина!

Говоря это, король сердито топал ногой.

Брюль опять выбежал и при помощи слуги пробовал разбудить Паули, но тот был неподвижен, как бревно: никакой врач, кроме времени, не был бы теперь в состоянии привести его в себя. Тогда Брюль тихо, медленно стал возвращаться назад, думая о чем-то; казалось в нем происходила внутренняя борьба; он как будто бы колебался, боялся чего-то и что-то соображал. Остановившись у дверей, он некоторое время не решался войти и, только набожно вздохнув, нажал ручку двери.

Король стоял посреди комнаты в выжидательной позе с бумагами в руках, губы у него были сжаты, брови сдвинулись, образуя складку на лбу.

— Паули!

— Нет никакой возможности разбудить его.

— Черт бы его побрал! Но депеши, кто мне напишет депеши... слышишь?

— Ваше величество, — промолвил Брюль, согнувшись вдвое и сложив руки на груди, — ваше величество, велика, почти преступна моя дерзость, простите ее великодушно; я знаю, что это безумно с

моей стороны, но любовь моя к вашему величеству и глубокое почтение... Одним словом, ваше величество... я попробую составить депешу.

— Ты? Молокосос!

Брюль покраснел.

— Ваше величество, испытайте меня.

Август пристально посмотрел на него.

— Хорошо, пойдем, — сказал он, направляясь к окну. — Вот письмо: прочти его и составь ответ, в котором был бы отказ, но отказ не должен быть так выражен, чтобы можно было понять, что он не положителен. Подай надежду, но не слишком ясно, заставь скорее догадаться. Понимаешь?

Брюль поклонился и, взяв письмо, хотел с ним выбежать из кабинета.

— Куда? — остановил его король и, указывая рукою на кресло, прибавил: — Садись сюда и пиши тут сейчас.

Паж поклонился еще раз и присел на краю дивана, обтянутого шелковой узорчатой материей, движением руки отбросил манжеты, нагнулся над бумагой, и перо начало бегать по ней с такой быстротой, что даже король улыбнулся.

Август с любопытством и внимательно посматривал на этого красивого мальчика, который составлял депешу, как будто записочку к возлюбленной.

Жестоко ошибся бы тот, кто бы подумал, что,

исполняя столь важное и могущее повлиять на его будущую карьеру дело, он забыл о своей позе. Он сел, как будто нехотя, как бы не думая, однако, ловко сложил свои изящные ножки, нагнул кокетливо головку и изящно положил на стол руки. Все это делал он хладнокровно, хотя, казалось, он сильно горячился и волновался; король не спускал с него глаз, и он, казалось, это чувствовал. Не задумываясь долго, он писал как бы под диктовку готовой мысли, ни разу не перечеркнул и ни на минуту не остановился. Только тогда перо остановилось, когда депеша была готова. Он быстро пробежал ее глазами и выпрямился.

С очевидным любопытством и приготовясь быть снисходительным, король приблизился.

— Читай, — сказал он.

Брюль кашлянул, голос его немного дрожал. Кто может угадать, не была ли демонстрация страха тоже расчетом? Король, желая его ободрить, ласково прибавил:

— Медленно, ясно и громко.

Молодой паж начал читать составленную им депешу, и голос, сначала дрожащий, сделался металлически ясным. На лице Августа изобразились попеременно изумление, радость и как будто недоверие.

Когда Брюль закончил, он не смел поднять глаз.

Лицо короля прояснилось, и он потер руки.

— Еще раз прочти сначала, — сказал король.

Теперь Брюль стал читать еще громче, яснее и отчетливее.

— Великолепно, — воскликнул он. — Сам Паули не сумел бы лучше! Перепиши начисто.

Брюль с низким поклоном подал ему депешу, которая была написана так, что совсем не требовала переписки. Август похлопал его по плечу.

— С сегодняшнего дня ты будешь моим секретарем при депешах. Пусть теперь Паули не показывается мне на глаза. Черт с ним, пусть и пьет, и издохнет.

Он позвонил и тотчас вошел дежурный камергер.

— Граф, — сказал ему король, — пусть свезут Паули домой, а когда он протрезвеет, объявите ему мое высочайшее неудовольствие. Пусть он не смеет показываться мне на глаза!!! Секретарем моим теперь будет Брюль. Уволить его от пажеской службы, но мундир оставить!

Камергер издали улыбнулся скромно стоящему в стороне Брюлю.

— Он меня выручил из крайне стеснительного положения. Я знаю Паули, он до завтрашнего утра будет лежать, как бревно, а депешу нужно послать немедленно.

Король подошел подписаться и прибавил:

— Списать копию.

— В этом нет надобности, ваше величество, — тихо сказал Брюль; — я напишу ее наизусть, я помню каждое слово.

— Вот так секретарь! — воскликнул король. — Прошу вас выдать ему триста талеров.

Брюль подошел поблагодарить, и король дал ему поцеловать руку, что было признаком большого к нему расположения.

Немного погодя курьер, взяв запечатанный пакет, скакал галопом через мост.

Брюль покорно вышел в переднюю. Здесь уже была известна, благодаря камергеру Фризену, история депеши и неожиданной милости короля для юноши, от которого никто не ожидал таких способностей. Все посматривали на него с завистью и любопытством. Когда Брюль вышел от короля, все глаза устремились на него. На лице у него не было и следа гордости, даже радость свою он прикрыл такой покорностью, что можно было подумать, что он стыдится того, что совершил.

Мошинский подбежал к нему.

— Правда ли? — воскликнул он. — Брюль назначен секретарем его величества? Когда? Что? Как?

— Господа! Дайте мне опомниться от удивления и испуга, — тихо произнес Брюль. — Как это случилось? Да я сам не знаю, само

Провидение позаботилось обо мне. Любовь к королю совершила чудо... Я сам не знаю; я ошеломлен, я не в своем уме.

Мошинский пристально взглянул на него.

— Если так пойдешь дальше, ты скоро обгонишь всех нас. Нужно заранее уже просить твоей милости.

— Граф, будьте милосерднее, не издевайтесь надо мной, бедным.

Говоря это, Брюль, как бы утомленный и теряющий силы, обтер пот с лица и сел, закрыв лицо руками.

— Можно подумать, смотря на него, — сказал Мошинский, — что с ним случилось величайшее несчастье.

Брюль, погружившись в размышления, не слышал этого замечания. В комнате все шептались, смотря на него, и передавали вновь приходящим историю счастливого пажа. К вечеру весь город знал об этом, и когда Брюль вместе с прочими пажами явился в оперу, Сулковский, сопровождавший королевича, подошел к нему, чтобы его поздравить.

Брюль, по-видимому, был в высшей степени тронут и не мог найти слов, чтобы выразить свою благодарность...

— А что, видишь, Брюль, — шепнул Сулковский, поглядывая на него сверху, — я

предсказывал всегда, что тебя оценят; я не ошибся; орлиный глаз нашего государя сумел тебя отличить.

Начали аплодировать тенору в роли Солимана; Сулковский тоже хлопал, но, повернувшись к другу, сказал:

— Это я тебе аплодирую.

Брюль покраснел и покорно поклонился. По окончании спектакля он исчез; ему даже вменили в заслугу, что он не хвастался своим счастьем. Товарищи искали его в замке, в квартире, но и там не нашли его; комната была заперта, а слуга уверил их, что он давно уже ушел из дому.

Действительно, лишь только занавес упал, он тихо, закрывшись плащом, проскользнул в замковую улицу, а из нее в другую, ведущую к дворцу в Ташенберге, где некогда сияла Козель, а теперь властвовала дочь цезарей Жозефина. Встретив его здесь, можно было подумать, что он спешит сложить свои лавры к ногам какой-нибудь нарумяненной богини. В этом не было ничего неправдоподобного. Ему было всего двадцать лет, лицо, как у херувима, а женщины, испорченные Августом, были очень кокетливы.

Очевидно было только то, что он старался не быть замеченным и признанным. Лицо он закрывал плащом и как только раздавались на улице шаги, он прижимался к стене и еще более торопился. Достигнув дворца королевича, он вошел не в него, а

в соседний дом; но прежде пристально посмотрел на ярко освещенные окна первого этажа. Тихо, без шума, поднялся он по знакомой лестнице и, остановясь у знакомой двери, три раза постучал в нее. Ответа не было. Подождав немного, он опять тихонько и таким же образом постучал в дверь.

Изнутри слышались медленные шаги, дверь наполовину открылась, и в ней показалась коротко стриженная голова старого человека. Брюль быстро скользнул в дверь.

Комната, в которую он вошел, была освещена единственной свечей, которую держал слуга, стоящий у двери: комната эта была заставлена шкафами и представляла мрачный и унылый вид.

Старик, отвечая на какой-то непонятный вопрос, шепнул что-то, указывая рукой на другие двери, к которым Брюль, сбросив плащ, подошел и чуть слышно постучал в них.

Живой голос тотчас отвечал ему:

— Favorisca! ^б

Комната, в которой очутился молодой паж, освещалась двумя свечами под абажуром, стоящими на столике. Она была просторная и как-то оригинально убрана.

Наполовину открытый шкаф с книгами,

^б По-итальянски: пожалуйста, войдите.

несколько столов, заваленных бумагами, между окнами большое распятие с фигурой Спасителя; на диване в беспорядке разбросанное платье и на нем гитара.

У стола, опершись на него одной рукой, стоял, ожидая его, человек уже немолодой, немного сгорбленный, с лицом желтым, сморщенным и длинным, с выдавшимся вперед подбородком и с черными глазами.

В нем с первого же взгляда можно было узнать итальянца. В узких, бледных губах было что-то особенное, таинственное; но вообще лицо скорее было шутливым, чем загадочным. На нем виднелись добродушие и ирония; большой орлиный нос почти закрывал собой верхнюю губу.

На коротко остриженной голове была надета черная шелковая шапочка, сам же он был в длинном черном платье, указывающем, что это духовная особа; на ногах были надеты черные чулки и туфли с большими пряжками.

Увидав Брюля, он протянул руки.

— Это ты, дитя мое! Как я рад! Да благословит тебя Господь!

Юноша покорно подошел к нему и, нагнувшись, поцеловал руку.

Хозяин сел на диван, предварительно сдвинув лежавшие на нем книги и платье, а Брюлю, стоявшему со шляпою в руках, указал на

ближайший стул, на который тот присел.

— Ессо! Ессо ⁷! — шепнул сидящий на диване. — Ты думаешь, что сообщишь мне новость? Я уже знаю! Все знаю и радуюсь. Видишь, Провидение награждает, Бог помогает своим верным.

Сказав это, он глубоко вздохнул.

— Его я и благодарю в моих молитвах, — тихо сказал Брюль.

— Останься верным вере, к которой тебя влечет сердце, осененное милостью Божией, и увидишь... — Он поднял высоко руку. — Ты пойдешь высоко, высоко! Невидимые руки будут тебя поднимать; я говорю тебе это. Я, сам по себе ничтожный и малый, но слуга Великого Господа.

И он смерил блестящими глазами скромно сидящего пажа, улыбнулся и, как бы исполнив свою обязанность, весело прибавил:

— Был ты в опере? Как пела Челеста? Смотрел ли на нее король? Был ли королевич?

Градом посыпались вопросы.

Падре Гуарини, так звали того, кого посетил Брюль, исповедник королевича, наперсник королевы, духовный отец нового двора, казалось столько же занимался оперой, сколько обращением

⁷ Вот! вот! (по-итальянски).

на путь истины грешника, сидевшего перед ним.

Расспрашивал он о теноре, о капелле, о гостях и, наконец, спросил, не был ли паж за кулисами?

— Я? — с некоторым недоумением спросил Брюль.

— Ничего дурного! Я не думаю ничего дурного; для музыки, Для искусства, чтобы посмотреть, каковы эти ангелы, когда должны быть простыми людьми. Челеста поет как ангел, но некрасива как сатана. Дали ей это имя разве ради голоса. Нечего опасаться, чтобы король влюбился в нее.

И падре Гуарини начал смеяться.

— А кто же царствует в сердце короля? — спросил он и, не ожидая ответа, сам сказал: — кажется, что как и в Польше, скоро наступят новые выборы по этой части.

И опять он расхохотался.

— Скажи же мне что-нибудь новенького, кроме того, что ты стал секретарем короля.

— Что же мне сказать? То разве, что никакое счастье не переменит моего сердца и чувств.

— Хорошо, хорошо, я тебе советую, будь, хотя тайно, добрым католиком; от нашего настоящего короля мы не можем ни ожидать, ни требовать, чтобы он был особенно ревностным приверженцем католицизма. Хорошо еще, что он хотя таков, но молодой будет совсем иным; святая

наша госпожа Жозефина не допустит его сойти с истинного пути. Он набожен, верный муж и ревностный католик. Во время его царствования должно начаться и наше; мы не отчаиваемся; протестанты съели бы нас, если б только были в состоянии, но мы жестки для их зубов, и пасть у них мала... *Chi va piano, va sano... chi va sano, va lontano* ⁸...

Повторив несколько раз, — *lontano lontano!* — он вздохнул.

— В память сегодняшнего дня, благословляя тебя, дам что-то, что принесет тебе счастье. Подожди.

Падре Гуарини выдвинул ящик и, опустив в него руку, вынул маленькие черные четки с ладанкой и крестиком.

— Святой отец благословил их собственной рукой, назначив их владельцу большое отпущение грехов; но для этого нужно каждый день с ними молиться ⁹.

⁸ Кто идет тихо, будет здоров... а кто здоров, долго может идти.

⁹ У католиков существует верование, что некоторые молитвы, утвержденные папой, имеют такое значение, что читающий их получает полное отпущение грехов или частное отпущение их. Такой же способностью обладают и некоторые

Брюль что-то сказал, поблагодарил, поцеловал руку духовника и встал.

Гуарини нагнулся к нему и начал шептать что-то на ухо, причем паж несколько раз утвердительно нагнул голову, опять поцеловал его руку и тихо вышел из комнаты.

В дверях ждал его тот же старый слуга со свечей в руке; Брюль сунул ему в руку монету и, закутавшись плащом, сошел с лестницы. Дойдя до дверей, он осторожно выглянул на улицу и, никого не увидев на ней, быстро выбежал. Отойдя несколько шагов, он остановился в раздумье, затем вновь побежал, остановился и повернул назад, но тотчас же опять вернулся, как бы не зная, на что решиться. Четки, которые обвивали его руку, он снял и быстро спрятал в карман и, подняв голову, стал отыскивать знакомый дом около церкви св. Софии.

Еще раз он оглянулся.

Двери дома, к которому он направлялся, были отворены настежь, на перилах лестницы стояла прикрепленная к столбику маленькая лампочка, которая еле рассеивала мрак, господствовавший под сводами. В обширных сенях в готическом стиле было тихо и пусто. Войдя на первый этаж, Брюль

позвонил.

Ему отворила горничная.

— Пастор дома? — спросил он.

— Дома, так как у него гости, с которыми он беседует...

— Гости, — колеблясь, промолвил Брюль, как будто его что-то удерживало от посещения. — Кто же там?

— Молодежь из Лейпцига, жаждущая слова Божьего и света. Брюль стоял еще на пороге, когда из соседних дверей показался человек средних лет и с серьезным лицом.

— Я не хочу вам мешать, — сказал паж, кланяясь.

— Никогда вы не мешали и не мешаете, — возразил хозяин, причем голос его звучал сухо, холодно и отчетливо. — Я теперь не в таком положении, чтобы ко мне то и дело приходили. Войдите, пожалуйста. Теперь такое время, что в протестантской стране к духовному лицу надо входить тайно, как первые христиане входили в катакомбы. Честь и слава тем, у которых хватает мужества войти в наш дом!

Так говоря, он ввел Брюля в обширную комнату, очень скромно меблированную, но с цветами на окнах. Здесь не было никого, кроме двух молодых людей, из них один, более высокий, показался Брюлю знакомым; только он не мог

вспомнить, где и когда его видел. Тот в свою очередь пристально посмотрел на нового гостя и тотчас подошел к нему.

— Если не ошибаюсь, — сказал он, — мы во второй раз в жизни встречаемся с вами. Благодаря вам, я вышел на дорогу и не попал в руки королевских слуг, как какой-нибудь бродяга.

— Граф Цинцендорф...

— Брат во Христе, и будь вы католик, арианин, виклефист, или еще кто, но если вы веруете в Спасителя и надеетесь на него, я приветствую вас теми же словами: брат во Христе!

Хозяин, у которого лицо было в высшей степени серьезно и брови сдвинутые и сросшиеся, что придавало его лицу суровое, строгое выражение, простонал:

— Оставьте эти мечты, граф; плевелы должны быть отделены от зерна, хотя и выросли на одном стебле.

Брюль молчал.

— Что же слышно при дворе? — спросил хозяин. — Утром, вероятно, лития, а вечером опера? Но лучше замолчать. Садитесь, любезный гость.

Все уселись. Брюль, очевидно, чувствовал себя неловко в присутствии посторонних. Цинцендорф долго и с любопытством смотрел на него, как будто желал прочесть, что у него на душе,

но эти окна, через которые он мог заглянуть внутрь, прекрасные глаза Брюля, закрывались перед им: казалось, паж избегал его взгляда и боялся его пронизательности.

— Правда ли, что хотят строить католический костел? — спросил хозяин.

— Я слышал об этом, только как о предположении, — отвечал Брюль, — и очень сомневаюсь, чтобы государь наш, начавший столько зданий, мог думать о еще новом.

— Это было бы ужасно! — вздохнул пастор.

— Почему? — прервал его Цинцендорф. — Мы упрекаем их в нетерпимости, так неужели и нам ей следовать. Пусть славят Господа Бога на всех языках и всеми способами; будут ли славить католики или мы, это, мне кажется, все равно.

Брюль наклонил голову, как бы соглашаясь с этим, но в то же время встретил строгий взгляд пастора, и это движение заменила двусмысленная улыбка, и он покраснел.

— Граф, — сказал пастор, обращаясь к Цинцендорфу. — Это юношеские мечты возвышенные и прекрасные, но невозможные в жизни. Нельзя носить плаща на двух плечах, нельзя служить двум Богам, не любить две веры, потому что пришлось бы не иметь никакой, как... как это нынче случается со многими, даже с высокопоставленными людьми.

Пастор вздохнул, и все поняли, куда он метит. Брюль притворился, что не слышит; он может быть жалел, что пошел в общество, занимающееся такими щекотливыми вопросами. Напротив того, Цинцендорф казался счастливым и с почтением схватился за руку пастора.

— Как же мы могли бы обращать и распространять истину, если бы мы не сближались с иноверными? Христос не избегал фарисеев и неверных, но обращал их кротостью и любовью.

— Вы, граф, молоды и предаетесь мечтам, — вздохнул пастор, — но когда придется бороться и от поэзии перейти к делу...

— Да, ведь, я к этому только и стремлюсь! — с одушевлением воскликнул граф, поднимая руки кверху. — Если бы я любил только себя, я искал бы Спасителя в пустыне и в размышлениях; но я люблю братьев, люблю всех, даже заблудших, поэтому я бросаюсь в эти волны, хотя бы они и должны были поглотить меня.

Пастор, Брюль и молодой товарищ слушали его и находились под различными впечатлениями. Первый стоял мрачный и раздраженный, второй немного смущенный, хотя и улыбался, третий же с восхищением ловил его слова.

— Я думаю, милый друг, что эта горячность ваша охладится при дворе, — шутливо заметил пастор.

— При дворе? — спросил тихо Брюль. — При дворе, граф? Мы будем иметь счастье видеть вас там?

— Что вы! Нет, нет, никогда в жизни! — отступая, воскликнул Цинцендорф. — Никакая сила не заставит меня принять службу при дворе. Мой двор должны составлять убогие и телом и духом дети Божии. Мое будущее — это применение учения Спасителя в жизни и оживление нашего полумертвого общества любовью Христа. Спаситель воскрешал только раз умерших, тех же, которые умирают два раза, никто не в состоянии воскресить, а такие умирающие — это те, которые, получив жизнь при святом крещении, добровольно убивают ее в себе. Я пойду к тем, в которых живет дух, чтобы раздуть его и воспламенить. При дворе меня бы осмеяли; там же я исполню то, к чему чувствую призвание.

— Однако, ваше семейство... — начал пастор.

— Отец мой, которого я обязан слушать, на небесах... — быстро прервал Цинцендорф.

Брюль скоро убедился, что ему здесь делать нечего. Цинцендорф пугал его своим разговором, он отошел с пастором к окну и, немного с ним тихо поговорив, любезно попрощался. Молодому апостолу он поклонился с истинно придворной вежливостью и исчез.

Трудно сказать, у кого он был более

искренним гостем, у отца иезуита, или у пастора; верно только то, что обоим их он навещал усердно и одинаково искал их расположения; однако, он заискивал более у Гуарини, чем у Кнефля, хотя в обществе он как будто был незнаком ни с тем, ни с другим.

Выйдя на улицу, Брюль задумался снова. Тут же находился дворец королевича; у ворот его стояли на часах два гвардейца.

Минуту спустя молодой паж скользнул на двор и побежал во флигель. Отворенные двери и освещенные окна позволяли попробовать счастья на новом дворе. Здесь жила старшая ключница двора королевны, графиня Коловрат-Краковская, дама очень почтенная, средних лет, любимица королевы Жозефины, и ласково принимавшая молодого пажа, который сообщал ей все дворцовые сплетни, за что и был угощаем всевозможными лакомствами.

Вход к ней был дозволен ему всегда и во всякое время, чем он пользовался благоразумно, стараясь, чтобы люди не видели его здесь слишком часто и не делали предположений об их отношениях.

В передней в парадной дворцовой ливрее стоял в парике камердинер старшей ключницы, который с низким поклоном, и не говоря ни слова, открыл ему дверь. Брюль вошел на цыпочках.

Зала была почти темная; несколько восковых

с длинными светильнями свеч горели на столике, и в темном свете, бросаемом ими, несколько почерневших картин, висящих на стене, получали странные и оригинальные формы. Также тихо было и в следующих комнатах. Сперва только сквозь притворенные двери проникал яркий свет и слышался шум, указывающий, что там есть живые люди; когда заскрипели башмаки Брюля, из дверей показалась детская головка.

Брюль осторожно подошел.

— Это вы, Генрих? — послышался свежий детский голосок. — Это вы? Подождите.

Головка исчезла, но немного погодя, двери широко отворились и вошла восьмилетняя девочка. Но разве можно было так назвать ее? Это была восьмилетняя графиня или, пожалуй, кукла в атласном платье, с кружевами, в шелковых ажурных чулках и в башмачках на высоких каблуках. Головка ее была завита и напудрена. Нет, это был не ребенок, а дама. С улыбкой приветствуя Брюля, она присела, как было принято при дворе и как ее выучил сам балетмейстер, г. Фавизэ, также как приседала она перед королем Августом, начиная менюэт.

Личико ее было так комически серьезно, что, взглянув на нее, невольно приходили на мысль фарфоровые херувимчики во фраках, изготавливаемые в Мейзене.

Она присела перед Брюлем, который отвесил ей поклон, как будто старушке; большими черными глазами посмотрело на него это дитя, как бы требуя должного почтения за ее восхитительный поклон, но в то же мгновение напускная серьезность оставила ее, и она разразилась хохотом. Комедия была окончена.

— А, это вы, *monsieur* Генрих!

— А ее сиятельство?

— Мамино сиятельство молится у королевы.

Падре Гуарини читает литии и размышления, а я скучаю. Здесь остались только собачка Филидорка, *madame* Браун и я, бедная сиротка. Послушай, Брюль, пойдем, поиграем со мной, я буду королевой, ты моим главным управляющим. Но Филидорка? Кем будет Филидорка?

— Панна Франциска, я с вами играл бы во все, во что бы вы ни захотели, но я должен идти к королю, не играть, но служить.

— В таком случае вы не любезный кавалер, — отвечала маленькая графиня, приняв прежний серьезный вид, что делало ее невыразимо смешной, — я вас любить не буду, и если вы когда-нибудь влюбитесь в меня...

— Еще бы, конечно, — воскликнул, смеясь, Брюль, — притом очень скоро!

— Увидите тогда, какие гримасы я буду делать и как я буду с вами жестока, — прибавила

Франя.

Говоря это, она повернулась к нему спиной и взяла со стула лежащий на нем веер. Перегнув назад головку и надув губки, она взглянула на Брюля с невыразимым презрением. В глазах восьмилетней девочки отражался весь двор, весь свет, вся испорченность и легкомысленность, господствовавшие тогда.

Брюль стоял в восхищении, и сцена эта продолжалась бы быть может еще дольше, если бы не послышался смех и шум, производимый атласным платьем.

— Брюль, и ты увлекаешь мою дочь!

Особа, сказавшая эти слова, была высокого роста, с величественной осанкой, еще очень красивая, и в особенности имеющая вид в высшей степени аристократический. Это была мать Франи, графиня Коловрат-Краковская, главная ключница двора молодой королевы.

Увидев мать, Франя несколько не смутилась, но опять церемониально присела и только тогда подошла к ней и поцеловала ей руку. Брюль, выпрямившись, с вдохновением смотрел в черные глаза графини.

Первая, да, пожалуй, и вторая ее молодость прошла уже, но обе оставили после себя черты лица нетронутыми, как бы изваянными из белого мрамора, который оживлялся, благодаря

искусственному румянцу. Черные, как смоль, волоса ее не напудренные, но искусно связанные, увеличивали белизну кожи. Несмотря на изящество ее форм, казалось, что она обладает большой силой. Немного прищуриив глаза, она посмотрела на пажа.

— Франя, — сказала она. — Ступай к madame Браун, мне нужно поговорить с Генрихом...

Девочка с улыбкой взглянула на мать, покачала головкой и убежала из комнаты.

Главная ключница, быстро обмахиваясь веером, стала ходить по зале и, нагнувшись к Брюлю, стала с ним интимно беседовать.

Брюль, сложа назади руки, шел рядом с ней, выказывая ей большое почтение, хотя раза два и приблизился чересчур близко. Этой таинственной беседы даже картины, висевшие на стене, не могли слышать.

Спустя полчаса паж сидел уже в передней короля и, казалось, дремал.

III

Прошло десять лет от этого пролога жизни Брюля, от этих первых сцен продолжительной драмы. Брюль был все тем же сияющим, милым, любезным, очаровательным юношей, привлекательности которого не могли даже сопротивляться и враги его; но он поднялся уже

очень высоко, сделавшись из пажа секретарем его высочества.

При пышном дворе этого Северного Людовика ¹⁰, которого льстецы часто сравнивали с королем Солнцем, воздавая тому честь Аполлона, а этому честь Геркулеса, постоянно сменялись люди, любимцы, фаворитки. Через несколько лет после удаления Паули, которого место так счастливо занял Брюль, любимец короля Августа был сделан его камер-юнкером. После смерти старого Флеминга он наследовал тайную канцелярию его величества. Покорный, неподражаемо вежливый и всем уступающий, Брюль каким-то чудесным образом, как шептали при дворе сумел свалить двух своих врагов, министров Флери и Монтефля, но когда ему об этом говорили, он краснел, божился и не признавался.

Вскоре после этого он был назначен камергером и получил ключ к фраку, потому что ключ от сердца, комнат и шкапулки его величества он имел уже давно. Наконец, его сделали

¹⁰ Известно, что Людовик XIV отличался любовью к пышной, роскошной жизни и крайним эгоизмом; любимой его поговоркой было: «Etat c'est moi» (государство, это я). Никогда во Франции не было такой распушенности нравов, как при нем.

подкоморием и нарочно для него образовали новую должность гроссмейстера гардероба. В состав этого гардероба входили галереи, собрание произведений искусства и разные отделения домашнего управления Августа II, который не мог никак обойтись без этого ни с чем несравнимого Брюля. Без него не могли обойтись и очень многие другие... а он как будто сам во всех нуждался, как будто боялся каждого, кланялся, улыбался, оказывал почтение даже привратникам у дворцовых ворот.

Король Август Сильный с того времени, когда так молодецки действовал бокалом, саблей и на лошади, заметно состарился. Он все еще сохранял осанку Геркулеса, но уже не было его силы. Он уже не забавлялся ломанием подков или отрубанием голов лошадям.

Изящный, улыбающийся, он ходил с палкой, а когда, любезничая с дамами, ему приходилось стоять слишком долго, он отыскивал глазами табуретку, и давало себя чувствовать то место на ноге, от которого лейб-хирург короля Вейс, спасая государя, отнял палец, причем ручался за успех головой. Голова была спасена, но пальца не стало, и король не мог долго стоять на одной ноге. Это было воспоминание золотого времени, того турнира, на котором он победил сердце княжны Любомирской. Симпатии короля, одна за другой, все на золотых

крылышках разлетелись по свету; даже последняя... Ожельская, теперь княжна Гольштейн-Бек была матерью семейства... и именно в этом году (1732) во время карнавала произвела на свет будущего главу княжеской фамилии.

Король скучал бы смертельно, если бы не приглашенная из Италии для исполнения главной роли в опере: «Клеофида или Александр в Индии», прелестная Фаустина Бордони, которая своим соловьиным, чарующим голосом рассеивала его мрачные мысли. Итальянку выдали замуж за известного артиста Гассе, а для того, чтобы он мог совершенствоваться в своем искусстве и не мешать жене, его послали в Италию, велев ожидать... дальнейших приказаний. Гассе, тоскуя, творил гениальные произведения.

В этом году карнавал тоже должен был быть великолепен. Не хватало немного денег, чего его величество допустить не мог, и вот Брюль, который все так мастерски исполнял, был признан за единственного человека, который может возвратить спокойствие королю.

Во время карнавала, в понедельник, король торжественно вручил Брюлю директорство акциза и податей.

Напрасно скромный и обремененный тяжелыми обязанностями юноша отказывался от

этой чести, считая себя недостойным ее: король Август II терпеть не мог противоречия, не любил никаких отговорок и заставил его принять ключи от кассы.

Брюль должен был наблюдать, чтобы золото непрерывно плыло в кассу, хотя бы и перемешанное с потом и слезами.

Это уже не был прежний смиренный паж, но муж, с которым должны были сводить счета самые сильные. Король не позволял сказать на него дурного слова и тотчас грозно хмурился. В нем одном он находил все то, что прежде должен был искать в десяти. Брюль был знатоком живописи, любил музыку, умел добыть грош оттуда, где его не было, был где нужно глухим и слепым, и всегда послушным...

Брюль получил от короля в подарок дом, из которого он сделал настоящую игрушку.

Вечером в последний вторник ¹¹, который пышно и великолепно должен быть проведен во дворце, новый директор акциза, вчера только лишь утвержденный в этой должности, в своем собственном доме (которого нельзя было назвать еще дворцом), отдыхал в кресле и, казалось, чего-то ожидал. Комната, в которой он сидел, могла

¹¹ У католиков великий пост начинается со среды.

служить кабинетом самой разборчивой из женщин, испорченных роскошью двора.

В резных золоченых рамках блестели зеркала; стены были обтянуты бледно-лиловой шелковой материей; на камине, этажерках и столиках было множество фарфоровых и бронзовых безделушек, пол был выстлан мягким ковром. Брюль, вытянув ноги, удобно поместившись в кресле и откинувшись на его спинку, со сложенными руками, которые были еще красивее, окруженные богатыми манжетами и сияя несколькими перстнями, казался погруженным в раздумье и соображения. Иногда только, заслышав внутри дома скрип каких-нибудь дверей, он приподнимался и прислушивался, и так как никто не приходил, опять возвращался к своим прерванным мыслям. Несколько раз взор его падал на часы, стоящие на камине, так как обремененный столь многими обязанностями, он должен был считаться с временем так же, как считался с людьми и деньгами.

Лицо его, несмотря на труд и волнения, не потеряло свежести и блеска глаз. Это был человек, обещавший надолго сохраниться и имеющий более надежды, чем воспоминаний.

Внутри дома стали отворяться двери. Брюль прислушался; шаги приближались: тихая, осторожная походка позволяла догадываться, что

она принадлежала человеку, который обыкновенно ходил к другим, но к которому эти другие никогда не ходили.

— Это он, — прошептал Брюль и приподнялся в кресле, — да, это он.

Послышался легкий, почтительный стук в двери, как будто кто-то ударил мягкими пальцами по бархатной портьере.

Брюль тихо сказал: «Herein» ¹², и двери отворились и заперлись, не издав ни малейшего звука. В них стоял человек из сорта тех, которых можно встретить только при дворах, так как они как будто рождаются придворными, и хотя колыбель их стояла в конюшне, гроб, наверное, будет стоять во дворце.

Он был высокого роста, силен, ловок, гибок, как клоун; но осанка его была ничто в сравнении с лицом. При первом взгляде на этом лице ничего нельзя было прочесть. Черты без выражения, холодное лицо, общее, весьма обыкновенное, что-то ни красивое, ни дурное, но останавливающее на себе внимание.

Под морщинами, которые исчезали, когда он молчал, были припрятаны все пружины, приводящие в движение лицо. Он стоял у двери

¹² Войдите.

спокойно, до того сжав губы, что их почти не было видно, и покорно ждал, когда к нему обратятся.

По костюму нельзя было судить о его положении в свете. Он не был роскошен и не бросался в глаза. Темное платье, стальные пуговицы, камзол скромный, вышитый, остальной костюм тоже черный; на башмаках пряжки, крытые лаком и почти невидимые, сбоку шпага со стальным эфесом, на голове парик, который был надет как неизбежная необходимость и потому казался скорее официальным, чем изящным. Под мышкой он держал черную шляпу без галуна; одна рука была обтянута перчаткой, и даже батистовые манжеты он забыл обшить кружевами.

Брюль, увидав вошедшего, быстро поднялся, как бы отброшенный пружиной, и, пройдясь по комнате, сказал:

— Ганс, у меня только полчаса свободного времени, и я призвал тебя для серьезного разговора. Отвори, пожалуйста, двери и взгляни, нет ли кого в передней.

Послушный Ганс, имя которого было Христиан, а фамилия Геннике, тихо отворил двери, окинул глазами переднюю и дал знак рукой, что они одни.

— Ты знаешь, вероятно, — начал Брюль, — что вчера его величество изволило назначить меня директором акциза и вице-директором податей.

— Я пришел именно с тем, чтобы вас поздравить, — отвечал Геннике, кланяясь.

— Право, не с чем поздравлять, — прервал его Брюль, принимая на себя вид человека недовольного и озабоченного. — Это опять новое бремя на мои слабые плечи.

— Которые, однако, не согнутся под ним, — заметил, кланяясь, стоящий у двери.

— Ганс, — обратился к нему Брюль, — все дело в двух словах: — хочешь ли ты присягнуть мне, что будешь верен и послушен? Хочешь ли вместе со мной рисковать сломать себе шею? Отвечай...

— Вдвоем, мы никогда не сломим ее, — с тихой и холодной улыбкой шепнул Геннике и покачал головой.

— Посильнее нас ломали.

— Да, но они были менее ловки, чем мы. Сила и могущество это нуль, если не уметь пользоваться ими. А мы, я вас уверяю, сумеем. Я согласен, но с условием, чтобы у меня ничем не были связаны руки.

— Помни только, — холодно заметил Брюль, — что это не пустые слова, но клятва.

С какой-то злой иронической улыбкой Геннике поднял руку с двумя пальцами кверху и сказал:

— Клянусь... но чем, хозяин и государь мой?

— Перед Богом, — отвечал Брюль, набожно нагнув голову и сложив руки на груди. — Геннике, ты знаешь, что я искренно набожен и никаких шуток...

— Ваше превосходительство, я ни над кем и ни над чем никогда не шучу. Шутки вещи дорогие, многие заплатили за них жизнью.

— Если ты пойдешь со мной, — прибавил Брюль, — я в свою очередь обещаю дать тебе власть, значение и богатство...

— Особенно последнее, — прервал Геннике, — так как в нем заключается все остальное... Богатство...

— Ты забыл, вероятно, о судьбе того, который, несмотря на свое богатство, очутился в Кенигштейне?

— А знаете ли вы, почему? — спросил стоящий у дверей.

— Немилость государя, немилость Бога.

— Нет не то, а пренебрежение туфлей. Умный человек должен поставить на алтаре туфлю и на нее молиться. Женщины все делают.

— Однако же, и сами падают; а Козель? Козель в Стольфене.

— А кто подставил ногу Козель? — спросил Геннике. — Присмотритесь получше и увидите прелестную ножку госпожи Денгофер и маленькую туфельку, под которой сидел великий король.

Брюль помолчал и вздохнул.

— Ваше превосходительство, начинаете новую жизнь. Вы ни на минуту не должны забывать, что женщина....

— Я сам помню это, — сердито отвечал Брюль. — Итак, Геннике, ты со мной?

— На жизнь и на смерть! Я человек незначительный, но во мне много опытности; поверьте мне, ум мой, воспитавшийся и созревший в передних, не хуже того, который в залах подается на серебряных подносах. Перед вами мне незачем скрываться и для вас это не тайна; Геннике, которого вы видите перед собой, вышел из дрянной скорлупы, которая лежит где-то разбитая в Цейтце. Долго я перед другими, как лакей, отворял двери, и, наконец, они открылись передо мной. Первое мое испытание было на акцизе в Люцене.

— Поэтому-то в деле акциза и податей ты мне и нужен. Король требует денег, а государство истощено; стонут, плачут, жалуются.

— Зачем же их слушать, — холодно возразил Геннике, — они никогда не довольны и вечно будут пищать. Их нужно прижать как лимон, чтобы выжать сок.

— Но чем и как?..

— Есть над чем задуматься, но мы найдем средства.

— Будут жаловаться.

— Кому? — расхохотался Геннике. — Разве нельзя загородить всех дорог саблями, а тех, которые слишком громко выразят свое недовольство, разве мы не можем, ради спокойствия нашего государя, посадить в Кенигштейн, отправить в Зоненштейн или заключить в Плейзенбург?

— Да, это правда, — задумчиво сказал Брюль, — но это не даст денег.

— Напротив, это-то их нам и доставит. Разнузданность ведь ужасная. Шляхта начала подавать голос, мещане завывать, а тут и мужичье заревело.

Брюль слушал с большим вниманием.

— Денег нужно очень много, а нынешний карнавал, ты думаешь, даром пройдет?

— Конечно, и все что спустит двор, пойдет к тому же народу, а не в землю; следовательно, у них есть чем платить. В деньгах мы нуждаемся для государя, — прибавил он, поглядывая на Брюля, — а и нам они быгодились. И вашему превосходительству, и вашему покорному слуге.

Брюль улыбнулся.

— Конечно, с какой же стати работать в поте лица даром!

— И взять на душу столько проклятий.

— Ну, что касается проклятий, Бог не слушает этих голосов. Король должен же иметь все, что ему

нужно.

— А мы — что следует, — прибавил Геннике. — Воздадите Божие Богови, кесарево кесареви, а сборщиково — сборщику.

Брюль в раздумьи остановился перед ним и после короткого молчанья сказал тихо:

— Поэтому-то имей глаз открытым, ухо внимательным, работай и за меня, и за себя, доноси мне обо всем, что нужно: у меня и без того столько хлопот в голове, что ты мне положительно необходим, и я один не слажу со всем этим.

— Положитесь на меня, — возразил Геннике. — Я отлично понимаю, что, трудясь для вас, я тружусь для себя самого. Я не обещаю вам платонической любви, потому что так, кажется, называют, если кто целует перчатку. Каждое дело должно быть предварительно выяснено. Я буду помнить о себе, буду помнить о вас и короля не забуду.

Он поклонился, и Брюль, похлопав его по плечу, прибавил:

— Геннике... Я помогу тебе высоко подняться.

— Только не слишком и не на новом рынке
13.

¹³ Под словом «новый рынок» — место казней в Дрездене, нужно разуметь вероятно, виселицу.

— Об этом не беспокойся. А теперь, мой мудрец, какой ты мне дашь совет? Как удержаться при дворе? Войти на лестницу — вещь не великая, но не свалиться с нее и не свернуть шеи — это похитрее.

— Я могу вам дать только один совет, — начал бывший лакей. — Все нужно делать через женщин. Без женщин ничего не сделаете.

— Положим, — возразил Брюль, — есть другие пути.

— Я знаю, что вы, ваше превосходительство, имеете за собой падре Гуарини и отца...

— Тс, Геннике!

— Я молчу, а все-таки, прибавлю, пора вашему превосходительству подумать и о том, что власть женщины много значит: никогда не помешает иметь запасную струну.

Брюль вздохнул.

— Я воспользуюсь твоим советом, оставь это уж мне. Оба замолчали.

— В каких отношениях находитесь вы с графом Сулковским? — шепнул Геннике. — Не нужно забывать, что солнце заходит, что люди смертны и что сыновья заступают на место отцов, а Сулковские Брюлей.

— Этого нечего бояться, — улыбнулся

Брюль, — он мне друг.

— Мне бы более было желательно, чтобы его жена была вашим другом, — заметил Ганс, — на это я больше бы мог рассчитывать.

— У Сулковского благородное сердце.

— Не спорю, но каждое сердце благородное более любит ту грудь, в которой оно бьется, чем всякую другую... Ну, а граф Мошинский?

Брюль вздрогнул и покраснел. Он быстро взглянул на Ганса, как бы желая прочесть, сказал ли он эту фамилию с задней мыслью.

Но лицо Геннике было спокойно и представляло олицетворенную невинность.

— Граф Мошинский не имеет никакого значения, — прошипел Брюль, — не имеет и никогда иметь не будет.

— Его величество выдало за него замуж собственную дочь, — медленно произнес Геннике.

Брюль не сказал ни слова.

— У людей злые языки, и поговаривали, — начал опять Геннике, — что панна Козель предпочитала бы иметь мужем кого-то Другого, а не графа Мошинского.

Сказав это, он взглянул в глаза Брюля, который молчал, надменно подняв голову.

— Да, — крикнул он, — да! Он вырвал ее у меня своими интригами, он вымолил ее!

— И оказал этим вашему превосходительству

величайшую в мире услугу, — рассмеялся Геннике. — Старая любовь не ржавеет, говорит наша пословица. Вместо одной пружины, вы можете иметь обе.

Они взглянули друг другу в глаза, и по лицу Брюля пробежала тень.

— Будет об этом, — сказал он. — Итак, Геннике, ты мой, рассчитывай на меня. Являйся ежедневно в шесть часов через черные двери... Завтра ты вступаешь в должность и здесь, у меня, будешь иметь канцелярию.

Геннике поклонился.

— И получу первое жалование, соответствующее труду.

— Да, если подумаешь, чтобы было чем заплатить.

— Это мое дело.

— Ну, теперь прощай, уже поздно.

Геннике поцеловал его в плечо и положил руку на сердце, а потом медленно, тихо и незаметно вышел из комнаты. Брюль нетерпеливо позвонил. Тотчас же вбежал испуганный камердинер.

— Во дворце бал начинается через полчаса. Носилки?

— Стоят внизу.

— Домино? Маска?

— Все готово.

Говоря это, камердинер отворил двери и повел

Брюля в гардеробную.

Уже тогда эта комната могла считаться особенностью столицы. Кругом у стен стояли большие резные шкафы, в данную минуту все отворенные. Между двумя окнами, которые были занавешены, стоял покрытый стол на бронзовых ногах, а на нем большое зеркало в фарфоровой узорной раме, на которой были изображены цветы и херувимы; вокруг него зимой и летом цвели розы, обвивал его плющ и нагибал свои головки ландыш, из зелени выглядывали вечно смеющиеся головки сотворенных искусством существ, которых неизвестно как следует назвать; ангелами ли, амурчиками, птичками или цветками? Наверху сидело их двое: оба бедные, нагие, как их Бог сотворил, и горячо обнимались, желая позабыть о своей нищете; хотя на плечах у них и были крылышки, но они уже не желали летать.

На этом столе перед зеркалом стоял целый прибор для туалета, как бы у женщины. В шкафах виднелись полные костюмы, начиная от башмаков и шляпы, кончая часами и шпагой; а все это было размещено в величайшем порядке. Мода и обычай требовали, чтобы все сменяли свою наружность и сходились в одном месте, как бы рожденные внезапно, благодаря одному мановению руки какого-нибудь чародея.

На сегодняшней вечер не столько был

необходим костюм, сколько домино. В отдельном шкафу лежали различные маскарадные принадлежности, висели плащи, шляпы, капюшоны и домино. Брюль остановился, недоумевая, что выбрать. Конечно, это был важный шаг. Король любил, чтобы во время маскарада гости не узнавали друг друга. Может быть, и Брюль не хотел, чтобы его тотчас узнали. Камердинер, следующий за ним с двумя свечами, ожидал приказания.

Быстро повернулся новый директор.

— Где тот костюм венецианского дворянина, которым я не успел воспользоваться в декабре?

Камердинер подбежал к шкафу, стоящему в углу и закрытому дверцей другого, рядом стоящего шкафа. Брюль тотчас заметил черный бархатный костюм.

Он начал быстро одеваться. Платье сидело великолепно, и в нем юноша казался еще благороднее, величественнее и ловчее. Все положительно было черно, даже перо при шляпе и покрытая лаком шпага.

На груди только сияла тяжелая золотая цепь, на которой Брюль повесил медаль с изображением Августа Сильного.

Так одевшись, он осмотрел себя в зеркале и надел на лицо полумаску. А для того, чтобы еще более быть неузнаваемым, он приклеил на чисто выбритом подбородке испанскую бородку, которая

казалась совершенно натуральной и могла обмануть даже хороших знакомых. Он переменял перстни на пальцах, повернулся несколько раз и начал быстро спускаться с лестницы.

Портшез, так назывались тогда носилки, стояли в сенях. Двое носильщиков были уже заранее переодеты по-венециански, в красных шерстяных шапках на голове и бархатных накидках на плечах. У обоих тоже были маски на лице. Лишь только спереди носилки были заперты и опустились зеленые занавески, как носильщики подняли их вверх и побежали по направлению ко дворцу.

У главных ворот стояли гвардейские часовые и не впускали никого, кроме экипажей знатных и богатых носилок. Народ толпился, но часовые отталкивали его, подставляя свои зубчатые секиры. Одни за другими въезжали освещенные факелами экипажи и носилки. Во дворе набралось уже множество прислуги. Дворец словно горел бесчисленными огнями, так как в этот день гостей принимали два двора и два хозяйства. У одного стола — сам король, у других — сын его с супругой. Из залы короля в залу королевича вел целый ряд освещенных комнат, в которых уже через окна можно было видеть тени снующих масок. Носилки Брю-ля остановились у подъезда, двери которого распахнулись, и венецианский дворянин, точно настоящий сын дожа, выскочил из

носил. В минуту, когда он начал подниматься на каменную, покрытую коврами лестницу, Бог знает откуда появилась фигура другого итальянца, но совершенно другого рода. Это был мужчина в маске, на целую голову выше Брюля, плечистый, сильный, держащий себя прямо, как воин; грудь у него выдалась вперед, одет он был отлично и точно сошел со старой картины Сальватора Розы. В этом costume он был великолепен, как будто он для него только и был сотворен.

На голове у него был надет шлем, без забрала, на груди панцирь, который испещряли изящными узорами золотые жилки; короткий плащ на плечах, шпага с боку и кинжал у пояса довершали костюм. В руке он держал надушенные перчатки, а на белых пальцах сияло несколько перстней. На лице у него была удивительная и странная маска, страшная и суровая, с длинными усами и клочком волос на бороде. Брови, изогнутые в виде буквы S, сходились в середине и переходили в морщины. Брюль только взглянул на эту отталкивающую маску и стал подниматься на лестницу, но итальянец, очевидно, хотел его догнать и вступить в разговор.

— Синьор! — звал он шипящим голосом. —
Corne sta? Va bene? 14

14 Как поживаете? Хорошо ли?

Брюль ответил ему только наклоением головы, но тот приблизился к нему и шепнул что-то на ухо, так что Брюль сердито отскочил. Маска же расхохоталась и указала на него пальцем.

— *A rivedersi, carrissimo, a rivedersi!* 15

И он тихо пошел за ним; из королевской залы долетали уже звуки музыки, а ему, очевидно, нечего было торопиться, он шел медленно, упершись рукой в бок и лениво двигая своими длинными ногами. Когда он вступил на последние ступени лестницы, он потерял из вида Брюля, затерявшегося в толпе. Все залы и комнаты были переполнены гостями. Блеск огней, красота богатых костюмов, сияющие алмазы женщин положительно ослепляли глаза.

Все это волновалось, шумело, пицало, смеялось, прыгало, исчезало и опять показывалось перед глазами зрителя.

В пышных польских костюмах с саблями, украшенными дорогими камнями, прогуливалось несколько легко узнаваемых сенаторов, на лицах которых, только ради приказания короля, черные полосы изображали из себя маски. Чаще всего в этой толпе бросались в глаза турки, мавры,

15 Ну до свидания, любезнейший, до свидания.

испанцы, несколько монахов, с опущенными на лицо капюшонами, несколько летучих мышей, несколько мифологических богинь с открытыми прелестями и закрытыми лицами и множество венецианцев, похожих на Брюля.

Были здесь и шуты, и паяцы.

Даже дети с колчанами и крыльями за плечами сновали в этой толпе, как бы угрожая бессильными стрелами; но их никто не боялся.

Королева Елизавета, Мария Стюарт, Генрих IV... Кого только там не было? Король с палкой с золотым набалдашником медленно расхаживал, задевая женщин и стараясь узнать их, что ему было очень легко, так как он хорошо знал всех тех, по крайней мере, которые стоили того, чтобы быть узnanными.

На других маскарадах он мог бы встретить какую-нибудь столичную красавицу, не имеющую доступа ко двору; но в этот вечер во дворец были допущены только экипажи знатных, богатые носилки и маски, наружность которых доказывала, что они не принадлежат к плебейам.

В залах хозяйками были самые красивые дамы, в столовых и буфетах устроены были хозяйства: китайские, японские, турецкие и т. д. Каждая из придворных дам должна была принимать и угощать почтенных гостей.

За королевскими залами такие же столы

находились в распоряжении королевы Жозефины и ее двора.

У одного из них сияла молодая графиня Франциска Коловрат: та же самая шалунья Франя, которая, имея восемь лет, умела так хорошо представлять из себя опытную придворную девицу... Теперь это была свежая девушка, кокетливая, веселая, гордо посматривающая на всех и вся покрытая бриллиантами; костюм пастушки не помешал ей выставить на показ все фамильные драгоценности.

Другие красавицы двора скрывались под более или менее прозрачными масками; но их выдавала походка, ручка, родимое пятнышко на белой шее, или даже самый костюм.

Королева Жозефина мало принимала участия во всеобщем веселье; да и находилась она здесь, только желая угодить тестю и мужу. Гордая ее осанка, строгое и некрасивое лицо и холодное обхождение не привлекали никого. Все знали, что она не любила пышных увеселений и предпочитала им семейную жизнь, молитвы и... сплетни. Строгая как для себя, так и для других, она внимательно посматривала на тех, которые вращались около нее. В окружающей ее атмосфере господствовали холод и принужденность. Никто не решался позволить себе свободно пошутить, так как тотчас встречал суровый взгляд королевы. Даже в маскараде, в

последний вторник, Жозефина не забыла, что она дочь Цезаря.

Тут же стоял вежливый и молчаливый королевич Фридрих, довольно красивый и с величественной осанкой, но холодный, как статуя, и соблюдающий церемонии. Ему было приятно смотреть на веселье других, но сам он не принимал в нем никакого участия. Он только величественно приглашал гостей и иногда бросал только словечко к окружающим его близким людям. Несмотря на молодость, в нем проглядывала вялость физическая и в особенности нравственная. За ним стоял, ожидая приказаний, пышно и великолепно одетый Сулковский. Королевич часто поворачивал к нему голову, взглядывал в глаза, спрашивал и, получив ответ, с удовольствием наклонял голову.

Смотря на них обоих вместе, легко можно было догадаться о тех отношениях, в которых они находились между собой; первый — слуга, был больше господином, нежели сам господин, который только по наружности был государем, не чувствуя этого. Сулковский, напротив, принимал величественные позы и с аристократической надменностью посматривал на снующие кругом фигуры.

По красоте лица тоже уступал ему король, который, несмотря на молодость, здоровье и свежесть, очень напоминал собой обыкновенного

немца.

Зато у столов Августа Сильного и вокруг его особы собралось самое веселое общество. Декольтированные маски то и дело задевали его величество, посматривающего сверху пресыщенным взором на маски, которые уже не имели для него ничего привлекательного.

Брюль вошел, как ему казалось, не будучи узнанным; жадными глазами он искал кого-то и хотел узнать под костюмом. Незамеченный, он проскользнул по зале мимо столов, желая убедиться, нет ли тех, кого он искал, при хозяйствах. Он не замечал, что встреченный им на лестнице итальянец издали следовал за ним.

Геркулесовское его сложение и свобода, с какой он шел по залеу не обращая ни малейшего внимания на тех, которые попадались ему навстречу, привлекали к нему женщин. Одна или две хотели его интриговать, но он, смеясь, шепнул им на ухо их фамилии... и они разбежались.

Король тоже с любопытством взглянул на него и заметил, обращаясь к Фризену:

— Если б здесь был кто-нибудь из прусских князей, они тотчас завербовали бы его в гренадеры. Кто он?

Но никто не мог дать удовлетворительного ответа. Между тем, итальянец исчез за колоннадой.

В то же самое время Брюля остановила

цыганка, старая, высокого роста женщина, с палкой в руке, в шелковой широкой накидке, вся в бусах, блестках и цветных украшениях. Полумаска позволяла видеть желтый, покрытый морщинами лоб гадалщицы. Она протянула руку и как-то, не то шипя, не то пища, потребовала у Брюля руку, обещая ему погадать. Тот не имел ни малейшего желания узнавать свое будущее и поэтому хотел отступить, но цыганка настойчиво требовала руки.

— Non abbiamo paura ¹⁶. Я вам предскажу хорошее...

Брюль протянул руку в перчатке.

— Я не гадаю по перчатке, но только по руке, — смеясь, сказала она, — сними...

На колонне, около которой они остановились, висела люстра с шестью свечами, цыганка подняла белую руку Брюля ладонью кверху, внимательно рассмотрела ее и покачала головой.

— Великая судьба, блестящее будущее, — сказала она. — Во всем удача, а счастья мало...

— Это загадка, — прервал Брюль. — Как же иметь во всем удачу, а не иметь счастья?..

— Это также легко, как быть счастливым, несмотря на бедность и несчастную судьбу! — воскликнула старая, изменив голос. — А знаешь ли

¹⁶ Не бойтесь.

ты, почему ты не будешь наслаждаться счастьем? Потому что у тебя нет сердца.

Брюль саркастически улыбнулся.

— Ты никого не любишь.

Он молча покачал отрицательно головой.

— Продолжай, маска, продолжай, что же далее?

— Ты не благодарен, — тихо прошептала она ему на ухо, — ты слеп, ищешь только величия.

— Меня очень радует, — переменяв голос, возразил Брюль, — что ты, очевидно, принимаешь меня за кого-то другого.

Маска в ответ на это написала ему на ладони: «Брюль». Он быстро вырвал руку и бросился в сторону; цыганка хотела его удержать, но он исчез. Может быть, ему приятнее было вздохнуть свободнее в этой толпе, не будучи признанным и задеваемым. Он блуждал до тех пор, пока не показалась маска, приковавшая к себе все его внимание.

Ее фантастический, восточный костюм указывал в ней какую-то царицу... Семирамиду или Клеопатру, это было довольно трудно угадать, потому что тогда в костюмах фантазия играла большую роль, чем историческая верность. Заботились о том, чтобы быть одетой красиво и пышно, а не о том, чтобы с точностью археолога воскресить умершую старину.

И царица Семирамида хотела быть только величественной властительницей, чего с ее осанкой и костюмом легко было достигнуть. Она была одета в платье из золотой парчи с длинным шлейфом; на него падал с головы от короны прозрачный вуаль, на шее ожерелье из огромных аметистов. В руке она держала скипетр и была опоясана поясом, усаженным попеременно аметистами и алмазами: при том королева имела осанку, движения и походку настоящей властительницы народов и сердец. На красивой белоснежной шее красиво вились темные кудри волос, напудренных золотом, а нижняя часть лица, молодая и безупречной красоты, имела в себе что-то повелительное. В маленьких розовых ушах висели серьги, состоящие из бриллиантов и огромных жемчужин, из которых самая большая красовалась на короне. Когда она проходила, все сторонились с дороги, не смея заговорить с ней. Она шла, равнодушно посматривая по сторонам. Брюль стоял около колонны; увидав ее, он немного колебался и потом поклонился ей, прикоснувшись рукой к шляпе. Она остановилась на мгновение; тогда он протянул руку, и она нехотя подала свою... Он быстро написал ей на ладони две буквы. Она пристально посмотрела на него, но ей как будто было все равно, что ее могли узнать, и, постояв секунду, она пошла далее. Брюль, не будучи в состоянии противиться ее

обаянию, тихо пошел за ней. Несколько раз она повернула голову в сторону и, видя, что он упрямо следует за ней, остановилась. Между зелеными кустами (так как эта зала представляла из себя сад весной) стояла незанятая скамейка; царица села на нее, а венецианец остановился тут же. Она долго смотрела на него и велела ему подать руку, что он тотчас исполнил и почувствовал, как она написала пальчиком на его ладони Г. Б. и засмеялась. Он приблизился еще ближе и стал около померанцевого дерева.

— Что я вас узнал, графиня, это неудивительно, — прошептал он. — Я узнал бы вас везде и не в этом королевском костюме, который для вас очень подходящ; но что вы могли меня узнать...

— В костюме одного из Совета Десяти, — слышался голос из-под маски, — но он именно для вас и подходящ.

— Графиня, вы восхитительны!

Она приняла этот комплимент совершенно равнодушно.

— Но будучи прекрасной, как божество древних, изваянное из мрамора, вы и холодны, как мрамор... как мрамор без души.

— Что же далее? — спросила маска. — Скажите что-нибудь поинтереснее, а это я уже слышала много раз.